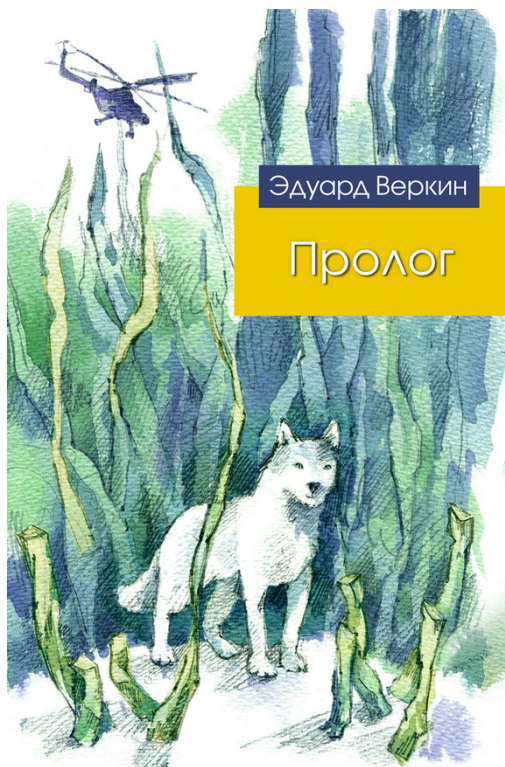




Эдуард Веркин

Пролог

Эдуард Николаевич Веркин

Пролог (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18083820
Пролог: Эксмо; Москва; 2016
ISBN 978-5-699-87584-9

Аннотация

«Я помню, словно это было вчера, как, тяжело ступая, он дотащился до старой дурной сосны, оперся на нее плечом, вздохнул и сел устало на землю. У него дрожали руки, он достал из ранца удивительную мягкую бутылку и стал пить и, выпив до половины, замер, словно прислушиваясь к себе, проверяя – правильно ли расходится по внутренностям вода? Потом втянул голову в плечи и остался сидеть, совсем как замерзшая чайка...»

Содержание

Эдуард Веркин. Пролог	5
Глава 1. Август	5
Глава 2. Осенью	20
Глава 3. Зга	31
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Эдуард Веркин

Пролог

© Веркин Э., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2016

Эдуард Веркин. Пролог

Повесть

Глава 1. Август

Я помню, словно это было вчера, как, тяжело ступая, он дотащился до старой дурной сосны, оперся на нее плечом, вздохнул и сел устало на землю. У него дрожали руки, он достал из ранца удивительную мягкую бутылку и стал пить и, выпив до половины, замер, словно прислушиваясь к себе, проверяя – правильно ли расходуется по внутренностям вода? Потом втянул голову в плечи и остался сидеть, совсем как замерзшая чайка.

Я шепнул Хвосту, что путник, наверное, просто уснул, и предложил не терять времени и идти на Зыбкий Берег искать черемшу – за ней мы, собственно, тогда и отправились. Но Хвост возразил, Хвост сказал, что сейчас незнакомец, может, и уснул, но скоро он наверняка уснет вкрутую, то есть с концами.

– Вид-то у него мертвецкий. – Хвост здраво указал пальцем. – Совсем мертвецкий, не видишь разве?

После чего предложил подождать. Черемша все равно от нас никуда не убежит, а оставлять бесхозного мертвяка глупо и расточительно. Во-первых, его может найти Кошкин с братьями. Во-вторых, его может найти староста Николай, он тут часто ходит на свою смолокурку. В-третьих, волки. Уж кто-кто, а волки на мертвечинку падки, им только дай учуять – сразу прибегут. В любом случае мертвец достанется им, а не нам. А этого допускать категорически нельзя, потому что мертвец – ресурс ценнейший. Взять хотя бы ботинки...

– Ты посмотри, какие это чудесные ботинки! Ты посмотри, какая подошва! В таких ботинках можно ходить всю жизнь! А когда ты тоже умрешь, твои наследники будут биться за них...

Не на жизнь, а на смерть. Над твоим бездыханным телом. Ботинки действительно были хороши, в Высольках таких ни у кого нет, разве что у старосты Николая, да и то он в них выходил только по праздникам, на день Огня, на Стожары, а так как все, в лаптях. Он хоть и староста, а тоже лапотник.

– А перевязь? Где ты встретишь такую перевязь? У самого заседателя нет такой перевязи! Когда он приходил в прошлом году пересчитывать людишек – он приходил в обычном ремне, как всякий, а тут...

И перевязь была хороша, что тут спорить? Но больше всего Хвосту нравился, конечно, топор. Небольшой топорик на длинной, дольше локтя, тонкой рукояти. Думаю, метательный топор, из старых, и металл тусклый, и видно, что непростой, булат или даже табан. Правда, про топор Хвост мне ничего не сказал, собирался его забрать потихоньку, чтобы делить не пришлось.

– Мне топор нравится, – сказал я. – Хороший топор.

– Топор? А, какой же это топор, это клевец, – тут же презрительно сказал Хвост, и я понял, что топор и ему тоже показался. – Бесполезный предмет, таким волка не убить. Ты лучше на ранец его погляди. Я такого и не видал никогда...

Ранец отличный. И в ранце, наверное, тоже много полезного.

Хвост тут же напомнил, что в прошлом году старик Шишкин вот так же пошел в лес, нашел мертвеца – показывать никому не стал, он же не дурак, а в сумке у мертвеца раз – и дюжина серебряных ложек. И теперь все Шишкины едят настоящими ложками, более того,

две ложки обменяли на козу, и теперь теми ложками, которые на козу не обменяли, хлебают молочный суп из молока обменной козы.

– У них сейчас сыр да шаньги, а ты как недорезанный черемшу солишь. Так всю жизнь мимо и прстоишь...

Хвост тут же рассказал про своего троюродного брата, который живет в Забоеве и уже не просто так человек. Там, в Забоеве, есть такая дорога, по которой на ярмарку обозы идут, а перед мостом через Синий овраг выросла как раз прокудливая осина. И вот на той осине каждую неделю кто-то да удавится. То коробейник, то костомол, а то и торговец какой случается. Так вот брат Хвоста невдалеке там всегда сидит на лабазе и этих удавленников караулит. И уже имеет с этого свой задел, невзирая на возраст.

Убедил меня Хвост, уселись мы в кустах и подождали некоторое время.

Сначала Хвост смирно держался, потом у меня соль стал выпрашивать. Соль ему давать опасно, он от нее как лось – дуреет. В прошлый раз вот тоже у меня соли выклянчил, я ему дал мешочек, так он щепотками начал есть, оторваться не мог. Я его, конечно, остановил, но поздно и не сразу. Неделю потом Хвост ходил опухший, без глаз совсем. Так что соли я ему не дал. Но Хвост не унимался, сломал веточку с ивы, размочалил ее и размочил во фляге, после чего уговорил меня эту веточку сунуть в соляной кисет. Соль налипла на палочку, и Хвост стал ее жевать. Свою соль всегда бережет, никогда не достает, хотя у самого на шее кисет. Жадный, как все Хвостовы. Старший брат Хвоста такой жадный, что ходит по дворам, выпрашивает рыбу чешую, варит из нее моментальный клей, а потом снова ходит по дворам и этот самый клей продает обратно. Семейное это у них, от Высок до Кологрива Хвостовы самые жадные люди на свете. Вот если сказать какому-нибудь Хвостову, что в Кологриве кто-то выкинул старые прелые лапти, то он сразу побежит за этими лаптями, выпучив глаза, и про волков не вспомнит.

Путник сидел под деревом недвижим и на самом деле походил на покойника. Лицо у него опять же покойнического цвета, синее и попятнело даже сбоку, да и челюсть отвалилась.

Подождали мы некоторое время, а потом Хвостов и говорит:

– Чего ждать, пойдем, уже все, остывает. Оттащим его в овраг. Куртку разденем и разыграем, остальное поделим, а самого закопаем по-человечески, он нам еще спасибо скажет.

– Как это?

– Просто. Его скоро волки начнут глотать, растащат по костям, и непонятно где что валяться станет, а так хорошо ему будет лежать, культурно, в одном месте. Я как раз свежий выворотень знаю. Давай, полезли.

– Полезли...

Но лезть никуда мы не спешили, потому что не могли разобрать, кому лезть первым. Некоторое время мы выясняли это обстоятельство, однако совсем не выяснили и полезли вместе.

Незнакомец все сидел у сосны, приложившись к ней затылком и совсем не двигаясь, так что по его телу и даже по лицу уже успели проложить дорогу черные муравьи.

– Говорю же, усоп давно, – сказал Хвостов. – Ты бери за правую ногу, я за левую – и потащим, верное дело...

Я сомневался, что получится утащить. Покойники все тяжелеют, особенно такие вот старые. Пока живой, все скачет, а как помрет, так и не сдвинуть. Да и мы с Хвостом не силачи.

Приближались мы к мертвецу медленно, это и понятно. Про мертвецов слухи разные ходили нехорошие, и давно уже ходили. Поговаривали, что пошаливать стали мертвецы, безобразничать. Вон, в Ворожеве завелся такой, у них овса два клена посеяли, так этот мертвец все и выкатал. Как стемнеет, так он идет в поле, на бок ляжет – и туда-сюда катается, то кругами, то восьмеркой, овес не ест, только портит.

А то еще привязываются в окна смотреть. Приходят ночью или чаще под утро и смотрят, смотрят. А от этого сны совсем печальные снятся. Ладно бы к своим приходили, а то к кому попало лезут. Этот тоже будет бродить, если не закопать его хорошенько. А лучше и правда его под корень заделать, так надежнее.

Заходили на мертвеца справа, чтобы быстро убежать. Когда мы к нему уже почти совсем приблизились, он пошевелил ногой.

Я сразу развернулся, но Хвост зашептал, что это такие конвульсии, жизнь еще не совсем его покинула. Но когда мертвец открыл глаза, я уже понял, что это совсем не конвульсии. Мертвец оказался немножечко живым.

Хвост тут же побежал, а я околел. Вдруг такой страх навалился, что не бежалось совсем.

Мертвец почувствовал муравьев на щеке, смахнул их, обругал природу-матушку, а потом меня заметил.

Он был в очках. Только не в увеличительных, как, например, у старосты Николая, а в зеленых, чтобы солнце глаза не натирало.

– Ты что, солевар? – спросил вдруг путник.

Я сначала удивился, но сразу понял, что ничего удивительного тут нет – солеvara легко опознать по съеденным ногтям и просоленному лицу. Но слишком уж он быстро меня узнал, только посмотрел и сразу сделал правильные выводы.

Тут мне в голову прилетела шишка, запущенная Хвостовым, я очнулся и побежал, и Хвост тоже побежал, а остановились мы только на берегу реки у мостика.

– Ты что, не понял, кто это был? – спросил Хвост, дыша.

– А что тут понимать? Бродяга. Игольник, наверное. А может, пуговичник. Или точильщик. Идет в Кологрив на ярмарку, вот и все.

Хвост только рассмеялся.

– Пуговичник... – усмехнулся он. – Точильщик. Еще скажи фуфлыжник.

– Может, и фуфлыжник, кто его разберет?

На фуфлыжника незнакомец, кстати, вполне походил. Скоро в Кологриве осенняя ярмарка, фуфлыжники ярмарки любят, собираются со всех сторон. Некоторые на самом деле фуфлыги пекут, а обычно так просто поклоняться собираются.

– А пузырек? – спросил Хвост. – Разве ты не увидел у него на шее пузырек?

Я пузырек совсем не заметил. Вернее, заметил, но подумал, что это не пузырек, а волкобой. Запасной волкобой. Один за пояс заткнут, а другой на шее болтается. Волкобой часто в волках застревают, и тут надо ловко ножом застрявший срезать и на рукоять запасной наматывать.

– Но это не пузырек, – прошептал Хвостов, – это...

Хвост огляделся, проверяя – нет ли тут поблизости кого ненужного.

– Это чернильница, – сообщил Хвостов.

– Чернильница? – не понял я. – Зачем пуговичнику чернильница?

– Так это не пуговичник вовсе, – еле слышно сказал Хвостов. – Это грамотей!

Грамотей.

– Точно говорю – грамотей, – повторил Хвост. – На шее чернильница. Глаза красные, как у кровопийцы. Костыль...

– А костыль-то при чем? – не понял я.

– Грамотей всю жизнь за столом сидят, – объяснил он. – От этого ноги искривляются – вот они и с костылями. Грамотей-грамотей, точно говорю. Носитель культуры.

– Что?

– Что-что, носитель. Культура, знаешь, что такое? – сказал Хвост с превосходством.

Его отец несколько раз был в Кологриве, так что мне тут спорить нечего было, в культуре Хвост наверняка разбирался лучше моего.

– Культура – это дело, – сказал Хвост. – Помнишь, гусельник приходил? Как забряцает на гусях, так все бабы ревут, как белухи. Во тебе культура! А грамотей гусельника куда как завиднее.

– Ладно, грамотей так грамотей, – согласился я. – Хотя и зачем нам грамотей?

– Как зачем, понятно же! Ты вспомни, как позапрошлым летом было? Как время овес убирать – так сразу и дождь. Овес и пожух. Все лето овес спеет-спеет, а потом дождь, как это?

Я вспомнил. Правда ведь, по делу говорит Хвост, в позапрошлом году дождь не оставливался. Все в склизь размокло, овес и пожух, и погнил, а тот, что не сгнил, медведи съели.

– И в прошлом году хлябалось, – напомнил Хвост. – Еще сильнее. Как пошло лить, так только с морозами и остановилось. Ни толокна, ни отрубей. А?

– Мало ли погода какая? – сказал я. – Такое вот невезенье... В других местах тоже погода шалит. Может, ведьма...

– Какая еще ведьма? Ведьмы там, далеко, на болотах, чего ей у нас делать?

Я не знал. Но погода плохая. Дожди. И овес да, гниет.

– Николай уже давно хотел грамотея вызвать, – сообщил Хвост. – А грамотей как прописет – так и будет, все знают. Только мало их осталось совсем, отец говорит, что он только одного и видел за всю жизнь, когда в Кологриве был. Это ведьма в каждой берлоге сидит, а грамотей на дороге нечасто валяется.

Про грамотеев я, конечно, слышал. Были раньше такие, умели не только читать, но и писать. И не просто писать, а вроде как даже *прописывать*. И ходили эти грамотеи по миру, по дорогам и местечкам, по большим селам, по заимкам разным, а если кому надо было что прописать – то и прописывали. Кому удачу в охоте, кому грибы чтобы подземные искались, кому пчел в правильную сторону надоумить, мало ли? Но потом как-то извелись, грамотеи в смысле. Не совсем под корень, но стало их немного, так что люди уже и сомневались даже – есть ли они вовсе.

Я тоже сомневался.

– Грамотей-грамотей, – заверил Хвост. – Брат мне говорил, что грамотей через неделю придет, а он уже, оказывается, здесь.

– А что в деревню не идет?

– Не знаю. Присматривается.

– Это как?

– Мертвым прикинулся, сидит, смотрит, как тут дела. Ладно, пусть сидит, пойдем черемшу собирать.

И мы отправились собирать черемшу на Зыбкий Берег.

Вернулись в деревню уже совсем к вечеру. Хвост побежал к себе, а я к себе, на край. Черемши набрал много, пестер с верхом, а пестер с меня самого ростом, еле дотащил.

Матушка обрадовалась, поздняя черемша тоже не каждый ведь год случается, а тут столько, и тут же стала черемшу разбирать, листья в одну корзину, стебли в бочку. Листья потом в хлеб можно, а стебли простоят всю зиму, и если совсем голодно будет, то черемша выручит. Конечно, зиму доходить на черемше – дело невеселое и худое, но лучше на черемше, чем на лебеде, это всем известно.

Я хотел попить чаю, но матушка велела мне готовить тузлук, чтобы засолить черемшу, пока она не подвяла. Готовить соляной раствор я не люблю, как и вообще возиться с солью. Потому что я на самом деле солевар, я собираю солевой раствор, жарю его на сковороде, соль собираю в мешок, тащу домой, размалываю в мельнице. А тузлук это обратно – готовую соль разбавлять водой, причем непременно холодной, солят ведь только холодной, что

груздь, что черемшу, это только в Забоеве солят горячей водой, так они там все ненормальные. Получается солевая бесконечность какая-то, но черемшу надо на самом деле солить.

Стал готовить тузлук. Соль в воде не хотела расступаться, и мне пришлось долго ворожать черпаком, устраивая в кадке вьюны и волны.

На суету с печи показался Тощан. День жаркий был, к вечеру в избе разогрелось, а Тощану все равно холодно, в валенках, в проеденной цигейке, животом урчит, глазом сверкает, как увидел черемшу, так и потянулся, слюной обливаясь. И урчать стал громче, точно не урчал, а разговаривал. Ну, мать его быстро по рукам стукнула, нельзя ему черемшу есть сырую, надо запарить, засолить, а то последние кишки завернутся. Тощан заплакал и полез обратно на печь, а там стал плакать уже громче и жалобней, как только он умел, а чтобы сильнее пробирало, скрипел гвоздем по старому изразцу, отчего получались удивительные звуки.

Матушка скоро эти звуки перестала терпеть и велела Тощану молчать. Он замолчал, но скрипеть не перестал, правда, не с таким старанием, а как мышь совсем, потихоньку. Я предложил матушке залезть на печь и немного Тощана побить, но она только рукой махнула, сказала, что бить его уже нельзя, можно совсем дух вышибить. Сказала, что она сама его с утра крепко крапивой высечет – и наказание, и для здоровья полезно. Но Тощан не очень испугался, он знал, что всю окрестную крапиву мы уже на него давно потратили, а за другой идти далеко, к опушке, никто вечером к лесу совсем не пойдет.

Матушка стала Тощана поносить и обещать ему всякие кары, но тут появился староста Николай с просьбой.

Староста сказал, что для грамотея он старую ригу поправляет, а пока пусть он у нас переночует, всего одну ночевку. Матушка со старостой спорить не стала, согласилась – Николай человек вредный, лучше с ним не спорить, и вечером к нам явился уже сам грамотей.

От него пахло дымом и вкусным жареным луком, матушка предложила ему каши из толченых корней, и грамотей, несмотря на сытый вид, не отказался. Он вообще держался с достоинством, двигался не спеша, а вокруг смотрел как бы поверх, не задерживаясь взглядом, как будто он находился сильно сверху.

Грамотей устроился за столом и стал есть. Ел он интересно – медленно, равнодушно, с отвращением, так у нас никто есть не умеет. Он ел, а мы все смотрели, первый раз видели, как ест носитель культуры, обстоятельно, с достоинством.

Продолжалось это долго, так что матушка два раза успела ему в миску добавить каши, грамотей принял это как должное, и снова ел и ел, и полведра каши съел, наверное, и только потом ложкой по столу стукнул и разрешил подать себе травяного отвара.

После третьей кружки настроение у грамотея улучшилось, он вытянул ноги и стал похвастаться. Сначала достал из ранца рубаху, потряс ею и сказал, что эту рубаху ему дали за отписку одной старухи в Ежовке, старуха померла и завещала, чтобы ее перед смертью вписали в родовую книгу. Грамотей, конечно, вписал старушку, за что благодарные родственники заплатили ему рубашкой.

После этого грамотей сообщил, что прошлым летом он съел полмешка картошки. Да-да, полмешка. Насладившись нашим удивлением, грамотей повторил про полмешка, добавив, что это он сделал за две недели. А эти полмешка ему выдали за то, что он избавил от бессонницы мать одного зажиточного землепашца. Несчастная женщина утратила сон после того, как к ней во сне стал являться Черный Федор и смущать предложениями продать свою душу за сахарную голову. Грамотей отписал ее за два месяца, сочинив новеллу «Овцы, овцы, овцы», причем очень успешно все получилось – после ежевечернего зачитывания этого расказа поселянка не только вернула сон, но и стала немного предсказывать будущее.

А весной он в Кологриве отписал заседательского сыночка от заикания, и теперь юный заседатель не просто разговаривает как новенький, но еще и песни поет.

Матушка стала спрашивать: как там везде обстоит? В других местах? Все как у нас – волки, дождик, мокрицы, невыносимость, серые туманы?

Грамотей отвечал, что в других местах все так же и гораздо хуже. В Забоеве свирепствует лишай, а Кологрив, как всегда, каждый год выгорает, а что до Макарьева, так там змеи да ядовитые лягушки да по вечерам из горы выходит прозрачный мужик с синими руками, и как кого увидит, так и все, смерть. И везде оно так и есть, мреть, поток, разорение. Волки, непогода, саранча да спорынья, ядовитые болота да кровавый понос, и нет ему предела.

Матушка вздыхала и спрашивала: правда ли, что на севере до сих пор дожди поганские идут – то из лягушек, то из чешуи жгучей, а то и из пены красной? Вот попадет такая пена кому на шею, так и проест всего насквозь. А спрятаться никак. Правда?

Грамотей отвечал, что про пену правда, случается такое. И лягушки тоже падают, только есть их совсем нельзя, потому что они из воды ядовитой и сами тоже сильно ядовитые, сколько ни вари – не вываришь. Потому что к северу и к западу лежат во тьме грязные земли, туда никак не стоит ходить, там не только вода, сам воздух там как сильный щелок, земля как известь, а люди уж и не люди, а псоглавцы да волколаки сплошные, тьфу на них. Оттуда, с тех земель, до сих пор выходит все безобразие, и мор, и хлад, и глад, и сам себе не рад. Что раньше с этим как-то еще боролись, а теперь уж и сил нет никаких, уже ни рогаток не ставят, ни засечных линий, ни колючей проволоки. Так что верно сказано, мир доживает последние дни.

Тошан кинул в грамотея сушеной мышью, а матушка спросила, сколько же стоит прописать себе чего? Счастья, например. Грамотей ответил, что счастье – понятие абстрактное, его прописать нельзя, грамотеи занимаются более приземленными вещами. Вот если икота, или ипохондрия кого одолела, или ползучки в избе поселились, или чтобы лошадь купить исправную – это пожалуйста, сколько угодно. Погоду опять же. Со счастьем никак. Вот вы сами чем тут живете?

Матушка рассказала и про скважину, и про дрова, и про сковородку, соль, одним словом, жарим да мелем, этим и живы. Грамотей вздохнул и сказал, что соль это хорошо, он уже раньше прописывал помощь одному солевару – чтобы раствор стал гуще, а вывар больше, нам он тоже этих преимуществ пропишет, только вот отдохнет немного, полчасика.

Правда, в тот вечер так ничего и не прописал, потому что уснул за столом, как сидел, так и уснул, голова уперлась, а руки остались стоять. Я не стал дожидаться, пока он проснется, полез на печь и попытался уснуть. Но от впечатлений не получалось, к тому же отчего-то в моей голове все крутился и крутился рассказ «Овцы, овцы, овцы».

Я плохо представлял, что грамотей называет рассказом, но сам этот рассказ мне отчего-то неплохо представлялся. Там один человек всю жизнь хотел завести себе овцу для того, чтобы периодически ее стричь, а из шерсти вязать носки и рукавицы. Он всю жизнь собирал средства для приобретения овцы, отказывал себе во всем и потом, уже под старость лет, ее все-таки купил. И вот он взял ножницы и собрался постричь овцу, но тут овца пустила его копытом в лоб и неосторожно убила. Как-то так мне представилось. Не знаю, как такой рассказ мог усыпить жену землепашца?

А проснулся я уже от крика. Мой брат Тошан устроил грамотею мышьяк. Он и мне пару раз мышьяк устраивал, до тех пор, пока я его хорошенько не проучил.

Надо признать, что мышьяк штука пренеприятная, а мой брат готовил его хорошо. Для начала надо устроить так, чтобы человек перевернулся на спину. Это несложно, Тошан проделывал это с помощью воды, достаточно немного намочить человека, и он начинает ворочаться и рано или поздно перекалывается на спину. Дальше уж совсем легко. Тошан действовал так – рассыпал на спящем крупу и крошки, а сам прятался подальше. Через некоторое время человек, открыв глаза, обнаруживал на себе множество резвящихся мышей и громко кричал.

Грамотей тоже закричал, все-таки человек. Мыши прысканули в стороны, а грамотей упал на пол. Он лежал на спине и пытался подняться, но это было нелегко – колени у грамотея болели и опираться на них не получалось, он барахтался на полу, а Тощан хохотал на печке, стучал пяткой в стену.

Я устремился к грамотею на помощь, но он взглянул на меня с видимым бешенством и продолжил подниматься сам, опираясь на костыль одной рукой и цепляясь за стену другой.

Тощану скучно, он всегда на печи да в избе, и только в самый жаркий и сухой день выпускаем его немного посидеть на улице. Ему сырой воздух вреден, от него у Тощана крепчает кашель, а если он дома, то вроде ничего. Соль опять же помогает. Но Тощану скучно. Вот он себе занятий и находит. То ящериц ловит, то сверчка натаскивает, но в основном по мышинному делу, конечно. За время сидения в избе он стал настоящим мышинным повелителем. Когда ему было нечего делать – а ему почти всегда было нечего делать, – он устраивал мышинные войны. Выманивал из подвала диких мышей свистком, сделанным из тростины, а потом обрушивал на них ярость своих мышей, прикормленных. Надо сказать, что мыши бились отчаянно, причем очень скоро в их рядах определились выдающиеся бойцы, настоящие мышинные волки. Их Тощан кормил дополнительно и натаскивал в специальных колесах.

Грамотей все-таки поднялся на ноги, посмотрел на меня и на Тощана с ненавистью. Но появилась матушка. Она стала предлагать грамотею ореховую похлебку, но он не стал у нас задерживаться и убрался, потому что Тощан слишком зловеще покашливал на печи.

А я спросил у грамотея перед уходом, про что был рассказ «Овцы, овцы, овцы». Грамотей явно хотел меня обругать, но потом признался, что это был не простой рассказ, а экспериментальный. Я не понял, а грамотей объяснил, что рассказ состоял из одного слова, но повторенного две тысячи раз. То есть там было только слово «овцы», но его надлежало читать с разным внутренним выражением, от этого многие засыпали.

Он ушел.

В следующие дни я его нечасто встречал. Приближалась осень, подземные реки теряли силу, и солевой раствор хорошо тек не каждый раз и не каждый раз был достаточен. Я сидел возле торчащей из земли трубы и часто проверял воду. За годы солеваренья я научился определять содержание соли в воде даже по внешнему виду, пальцами воду щупал, только когда требовалось определить совсем уж тонкие соляные оттенки.

Когда раствор становился пригоден, я перекидывал ворот в сторону кадки. Кадка наполнялась, я впрягался в нее и тащил на выжарку. Тут все просто и надежно – три камня, на них ставится широкая и глубокая сковорода, кованая, еще из старинных, под сковородой огонь. Пламя следует поддерживать медленное, чтобы рассол испарялся равномерно. По мере испарения в сковороду добавлялось воды из кадки, так постепенно рассол густел и густел, и когда он становился перенасыщенным, почти уж и не рассолом, а расплавом, я вычерпывал его со сковороды в особую бадью. В бадье рассол остывал, и на дно выпадала чистая соль.

Всего у нас в Высоляках четыре трубы на разных концах деревни, но соль варят обычно только на трех, на четвертой хозяин Хорт, он ленив и варит лишь по настроению, предпочитая питаться снытью, лебедой, ботвой и прочим подорожником, соль он использует не для обмена, а только для себя.

Поскольку соли в воде становилось все меньше, на соляном дворе я проводил все больше времени, мало интересуясь происходящим в деревне. О событиях узнавал лишь от Хвостова, да и то редко. Но потом, когда август перевалил за середину и листья стали желтеть, соль остановилась вовсе.

На следующий день я отоспался и вышел гулять на берег реки и там увидел необычное сооружение, напомнившее мне бревно. Рядом с сооружением сидел Хвост, он мне и рассказывал.

Про Старого Ника и старосту Николая.

Старый Ник этим летом обнаглел совсем. Он съел все, до чего смог дотянуться своими бессовестными усами: он съел всех пескарей на отмелях, и они больше не скрипели по ночам свои протяжные грустные песни; он съел оранжевых тритонов, он съел икру лягушек и самих лягушек, и они тоже перестали наполнять звуком ночи, никто больше не орал при луне глупыми голосами, сделалась тишина, и от этого вдруг стали даже днем слышны волки, живущие в чаще на другом берегу. Старый Ник съел последних ондатр и съел немногочисленных раков, сидевших вокруг омута. А потом, окончательно утратив стыд, стал выходить к берегу даже в дневное время, и не для того, чтобы погреться в лучах, а для того, чтобы кормиться свежими и сладкими побегими рогоза. И очень скоро по берегу стариц образовались протяженные заедины, и Николай, поглядев на это безобразие, сказал, что со Старым Ником надо что-то делать.

Я, кстати, с этим был полностью согласен, еще в прошлом году надо было что-то делать. В прошлом году Старый Ник подкараулил и съел Речную Собаку, а я ей много симпатизировал. Речная Собака водилась у реки очень давно, только я помнил ее лет семь, а то и больше. Собака в отличие от других собак была совершенно безобидной, даже полезной. Например, она умела ловить раков, причем сама при этом почему-то питалась только рачьими головами, шейки же оставляла на песке. Свое раколовное настроение Речная Собака всегда предвещала оптимистическим воем, так что мы с Хвостовым, заслышав ее радостный голос, спешили с корзинами к реке.

От нее была и другая польза, не только пищевая. Сама Собака всегда находилась в хорошем настроении, за все годы, что мы были с ней знакомы, я ни разу не видел ее ни в унынии, ни в другой какой меланхолии, и это настроение Собака каким-то образом сообщала всем вокруг. Греемся с Хвостовым на камнях, тоскуем и хотим есть, тут раз – Речная Собака живым оранжевым пятном пробежит, дружелюбно прогавкает, и уже как-то стыдно киснуть в печали, и Хвост говорит, что снова знает, где белки прячут орехи, и можно сходить поискать, а я вспоминаю, как прошлой весной вот так же орешник ходили, а вместо орехов в норе нашли гладкую гальку да железные шарики, Хвост сдуру попробовал их раскусить, да только зуб поломал. И смешно уже как-то, и есть не так хочется.

Хорошая, одним словом, собака была Речная Собака.

Поэтому, когда Ник собакой заинтересовался, я попытался ее уберечь. Конечно, мои убеждения на нее не подействовали, она же все-таки собака, пусть и умная, но все равно, и тогда я стал гонять ее пультострелом. Устроюсь на берегу, дожусь, пока Речная Собака появится, и сразу ей в бочину проволоочную галку. Визжит. Сначала это действовало, после пары галок собака с недовольным видом удалялась в береговые заросли и у реки до следующего дня не появлялась. Но я же говорю – умной была – и скоро научилась противодействию: стоило мне с пультострелом появиться на берегу, как она поворачивалась в мою сторону головой. И я уже не стрелял, боялся глаз вышибить, только ругался и камни вокруг кидал.

Ник решил ее съесть, это случилось солнечным днем, я помню. Мы с Хвостом шли по берегу, копали земляные орехи, а собака, как всегда, стояла на Косой отмели в воде по брюхо и смотрела вдаль, словно ждала, что по воде кто-то к ней приплывет. Она так могла стоять подолгу, замерев и глядя в одну точку и опуская в воду рыжий хвост.

Хвостов предполагал, что она так ждет хозяина. Что у Речной Собаки был когда-то хозяин, они плыли по реке на лодке, лодка наткнулась на камень, собака выплыла, а у хозяина не получилось, его тут же утащили на дно игривые навки и прожорливые лорелеи, так что собака его не дождалась, но все-таки ждет, стоя каждый день у воды.

Я с Хвостовым не спорил, все оно так и могло случиться, вполне себе. В тот день собака тоже стояла в воде, мы устроились на высоком бережку и стали на нее смотреть, чтобы улучшить настроение. Косая отмель не длинная и заканчивается свалом в глубину. В некоторые дни из глубины поднимались сентиментальные раки, на них Речная Собака и охотилась.

Она уже привыкла к воде и по-другому жить не умела, а Старый Ник был существом терпеливым и коварным. Он не спешил и вел свою охоту размеренно и постепенно, день за днем усыпляя бдительность собаки. Каждое утро он выбирался на Косую отмель и лежал на ней недвижим и лишь едва покрываем водой, прикидываясь то ли бревном, то ли мертвым, незаметно глазу пошевеливая хвостом и плавниками. Ник был дьявольски терпелив, и скоро его усилия начали приносить результат – он стал приближаться к собаке.

Мы с Хвостом изо всех сил пытались противодействовать поползновениям Ника. Приблизиться к нему мы, разумеется, не могли, но старались уязвить его издали – кидали камнями и заточенными железными кусками, только все зря: пробить его шкуру у нас не получилось. Мы пытались позвать взрослых – чтобы они пришли и проткнули Ника баграми, но взрослых не занимала Речная Собака. А может, они боялись Ника – ходили ведь слухи, что полынщика, два года назад внезапно совершенно пропавшего, съели совсем не правобережные волки, а вполне себе утащил зловредный сом. Поговаривали, что и Усатая Фрося, не боявшаяся волков и собиравшая на другом берегу щавель и кислицу, вовсе не заблудилась в лесу, а была увлечена под корягу Старым Ником.

Николай, староста Высолек, конечно, осуждал пересуды, но жители упрямо считали, что Ник не просто себе гигантский сом. Некоторые передавали, что Ник смущает свою жертву тяжелым взглядом, и она, лишенная воли и сил, сама падает ему в пасть. Некоторые считали, что он оглушает добычу электричеством, которое собирается у него в усах. Большинство же считало, что пора жаловаться заседателю, еще чуть-чуть, и он тут всех переловит.

День, когда он все-таки утащил Собаку, я не знаю, думаю, что это случилось в августе. Речная Собака перестала появляться на воде, и Старый Ник тоже перестал показываться, отчего мы с Хвостовым решили, что он ее все-таки сожрал и теперь лежит, довольный, на своем сумрачном дне.

Но в Высольках никому, кроме нас с Хвостом, до Речной Собаки дела не было. Еще Тощан ее любил, вот и все, она от Тощана не шарахалась, лизала его в ухо, он ее любил.

Чаша терпения старосты Николая переполнилась этим летом, когда Старый Ник приспособился доить его коз. У старосты жили три козы, и летом, в жаркие тревожные полдни, наевшись травы и устав от оводов, козы спускались на ветерок, к реке, выходили на серп отмели и вставали в воду чуть ли не до рогов.

Старый Ник был хитрец и лакомка, он мог бы легко поутаскивать этих бестолковых животных, однако предпочел их подкарауливать в водах, подманивать хитрыми пузырями и выдаивать. Старостиха, увидев, что молочные показатели упали, призвала старосту Николая решить проблему с сомом раз и навсегда.

Николай попытался обойтись по-простому, послал к омуту мужиков с вилами. К черенкам мужики привязали длинные веревки и стали кидать вилы с берега в надежде проткнуть Старого Ника. Подобная тактика не принесла успеха. То ли Ник отдыхал в другом месте, то ли шкура его была толста, добыть его с помощью вил не получилось.

Сетью поймать его тоже не удалось, потому что все сети, закинутые в реку, он либо рвал, либо ел. Ко времени прибытия в Высольки грамотея затруднения со Старым Ником постепенно перерастали в войну. Сом, разгневанный учиненной на него охотой, вступил в противостояние с общиной с азартом и упрямством.

Первым делом он подломил мост, перекинутый на другой берег. Собственно, это был даже и не мост, а мостки, которые каждую весну сносило разливом и каждое лето их восстанавливали заново из жердей и досок. Жерди вбивали в глинистое дно, Старый Ник подплыл к ним ночью и упорно бодал головой, отчего скоро мост нагнулся, а потом и завалился набок. Пришлось мост чинить, но починки хватило ненадолго – на следующий день сом повторил свое поведение и снова уронил мост. Сообщение с правым берегом прекратилось. Пришлось строить в третий раз, и вместо жердей вколачивать в дно уже вполне себе толстые бревна. Этот мост строили долго, и его Старый Ник уже не смог разрушить, при строительстве же моста один из братьев Хвостовых отрубил себе палец.

Впрочем, староста Николай недолго праздновал одержание, Старый Ник нанес ответный удар. Чуть ниже от моста по течению в реку впадал безымянный ручей, в устье которого устроил свое дело высольский мельник. Мельница получилась небольшой, но для наших жалких нужд ее хватало, иногда, когда соли выжаривалось много, я молол ее не дома, а на мельнице. Старый Ник совершил свое безобразие, как обычно, ночью. Он приплыл к мельнице и разломал всю запруду, за ночь вода растащила остатки плотины, размыва берег и унесла всю мельницу в реку.

Мельник пришел к дому старосты Николая и громко ругался почти полдня.

Староста, исчерпав все возможные средства противоборства со зловещей рыбой, в отчаянье построил на берегу из соломы и палок образ, несколько напоминавший сома. Сделал староста это в натуральную величину и, как мне показалось, даже несколько преувеличил размерность своего противника, Старый Ник все-таки был не таким большим.

Построив из соломы и веток каркас сома, неутомимый староста Николай обмазал его глиной и обсыпал рыбьей чешуей, а вместо глаз вставил кислые яблоки-китайки. Сооружение скульптуры было закончено прикреплением к морде сома черных изготовленных из старой проволоки усов.

Когда глиняный сом был приготовлен, староста Николай приступил к действиям. Сначала он приходил к глиняному сому по утрам и пытался его усомнить и устно убедить покинуть наши воды, отправиться вниз по течению, лучше к Дубровке, там и места глубже, и вдоль берега растет во множестве ревень, а он и вкусен и питателен. Убеждения и укоры на Старого Ника действовали слабо, он продолжал по вечерам булькать в омуте, а по ночам снова упрямо раскачивал мост. Тогда Николай перешел к другим методам.

Он стал ходить по утрам к сому, стегать его плеткой и немного проклинать. Этот подход к успеху тоже не привел, напротив, усугубил положение, Старый Ник устроил коварство. Он подмыл хвостом высокий берег с тропкой, по которой мужики ходили на косьбу, и, когда они отправились сгребать сено, берег подломился и мужики просыпались в реку. Мужики были взрослые, и Старый Ник их совсем не смог утопить, только за ноги покусал. Зато утонули вилы, косы, серпы, таким образом Старый Ник нанес общине значительный ущерб.

От расстройства староста Николай начал сильно чесаться, но от намерений своих не отступил. Он объявил вече на берегу, и когда собрались все, кто мог, староста велел народу с ненавистью плевать в глиняного сома. Мужики удивились, но плевать стали, и плевали так сильно, что отплевали статуе хвост. Но заметного ущерба живому, натуральному сому это опять же не причинило, напротив, скоро Старый Ник приплыл к бабам, полоскавшим белье на мостках, и уволок у них две рубахи.

На следующий день мы с Хвостом болтались на берегу. Работы на солеварне, как я уже говорил, не стало, и поэтому я решил отдохнуть. Мы с Хвостом рассматривали глиняного сома, а Хвост даже выковырял у него яблочный глаз и съел. Сом выглядел глупо, да и вообще лично мне вся затея казалась глупой.

Побродив вокруг сома, мы решили поискать мяты или золотого корня, Хвост заявил, что брат научил его искать золотой корень по приметам, и мы этот корень стали искать,

но нашли только две дохлые гадюки. Хвостов сказал, что если кинуть дохлую гадюку в муравейник, то за два дня муравьи выедят все гадючье мясо и останется одна только кожа, а из нее можно сделать отличные ремешки.

Мне с гадюками возиться совсем не представлялось, но Хвост терять их не хотел и поэтому прицепил гадюк к поясу. Потом вдруг Хвост предположил, что у змей мог случиться мор, а значит, надо поискать еще дохлых. Если получится найти их с десятков, то можно сплести змеиную веревку, и если все время ходить с такой веревкой, обвязанной вокруг туловища, то в лесу на тебя не залезет ни один клещ, верное средство. А еще змеиная веревка выручает от усыхания. Если такой веревкой обмотать Тощана, то он вполне сможет выздороветь. Я знал, что он врет, но все равно поверил. Стали искать змей.

Но дохлых змей больше не попадалось, зато в самый разгар поисков показался грамотей. Он пересек луг, вышел на берег реки, задумчиво поглядел на глиняного сома, после чего сел на ранец, а на коленях у себя разложил планшет с бумагой.

– Сейчас волосы драть будет, – сказал Хвостов.

– Зачем?

– Ясно зачем, для вдохновения.

Я не очень хорошо понял, тогда Хвост пояснил:

– Они без вдохновения не могут, мне папка рассказывал. Тот грамотей, которого он в Кологриве видел, перед каждым своим выступлением вдохновлялся. Ты думаешь, почему у грамотеев волос мало? Они их вырывают. Когда грамотей волосы выдирает, у него мысли в голову приходят. Вон смотри, сейчас начнет!

Но грамотей не стал выдирать волосы, просто почесал голову. Ничего интересного с ним не происходило, сидел и сидел. Мы понаблюдали за ним, а потом решили вздремнуть на солнышке, однако не получилось, потому что показался староста Николай, настроенный решительно.

Он принес с собой достаточно толстую палку и пустился крушить своего глиняного сома. Сом к этому времени уже изрядно отвердел, палка сломалась и стукнула старосту по лицу, разбив ему нос.

Грамотей, увидев эти события, рассмеялся. Он смеялся с таким удовольствием и чисто-сердечием, точно не делал этого уже давно. Староста Николай не понял, в чем тут заключается юмор, грамотей же сказал, что староста Николай ничего не понимает в тонких материях. Более того, вот этим самодельным чучелом он только все сильно ухудшает. Потому что только слепец и законченный лапотник не увидит сходства: Старый Ник – староста Николай. А значит, устраивая надругательства над чучелом сома, староста в чем-то попирает себя самого, своими собственными руками самого себя высекает, и разбитый нос тому подтверждение.

Тогда я впервые подумал... Да, тогда я впервые понял, что есть люди, понимающие вопросы гораздо глубже.

Староста Николай позеленел от злобы и унижения, кинулся было к чучелу сома совсем с топором, но остановился. Грамотей сказал, что теперь уж делать нечего, теперь старосте придется забрать своего сома себе в дом и беречь его до востребования, лучше на чердаке.

Что же касается непосредственно сома в реке, то здесь...

Грамотей спрятал свои бумаги в планшет и стал рыться в ранце. Мы стояли поодаль, но от интереса потихоньку приближались. Староста растирал кровь по щекам.

Грамотей тем временем достал из ранца незнакомые предметы. Три штуки, больше всего они походили на недозрелые яблоки, только продолговатые, и видно, что тяжелые – грамотей уронил один из предметов на землю, а тот даже и не подпрыгнул. Он распахнул эти предметы по карманам и направился к берегу. Шагал кое-как, медленно, с трудом передвигая

больные ноги, как старая утка. Мы все устремились за ним, и я, и Хвост, и староста Николай с распухшим носом.

Старый Ник обычно водился в глубоком омуте, вымытом течением на повороте. Река здесь была быстрая, она подмыла берег и уронила в воду несколько сосен, и много старых сосен уже гнило на дне, так что омут образовался вполне подходящий, широкий и вольный.

То, что Старый Ник отдыхает на дне, было заметно – вода совсем не волновалась, напротив, выглядела мертво. По поверхности плавали пузыри и жухлые листья, никакого движения, даже течение теперь, казалось, обходило омут по краю.

Староста поглядел на грамотея с сомнением, сам грамотей не сомневался, он достал из кармана круглый предмет. Хвостов предусмотрительно отодвинулся подальше, а грамотей подтвердил, что да, лучше всем отойти от берега, и не только отойти, но и лечь на землю. Мы легли, староста тоже.

Хвост шепнул мне на ухо, что сейчас грамотей устроит грамотейское колдунство. Не знаю, как колдунство, но грамотей тоже быстро улегся на землю. Затем хрустнул плечом, сделал резкое движение рукой и метнул кругляк в омут.

Кругляк булькнул.

Сам грамотей съезжился, но ничего не произошло, а мы так и продолжали лежать в траве. Грамотей вздохнул и сказал, что время безжалостно не только к людям, но и к предметам, причем к предметам иногда безжалостнее. После этого грамотей метнул в омут второй кругляк.

Хвост сказал, что это...

Договорить он не успел, потому что земля дрогнула. И грохнуло еще так, что я подпрыгнул лежа и едва не оглох. А с деревьев просыпались шишки. А сверху тут же на нас пролилась вода и упал ил, вонючий и кишащий многочисленной придонной явью.

Грамотей поднялся, отряхнул руки и сказал, что если Старый Ник отдыхал в омуте, то теперь он наверняка отправился к своим скользким прапращурам. Можно забирать.

Несколько оглохший староста Николай спросил, что это было, грамотей ответил, что граната. Оружие из старых запасов. Таким можно хоть кого успокоить. Так-то.

Мы вышли на берег. Омут был взбаламучен, по поверхности плавала грязь и донный мусор, а на берегу растопырились чьи-то неопрятные белые кишки. Грамотей велел следовать вниз по течению и доставать рыбу на берег.

Мы двинулись по берегу к отмели. Хвостов был в восторге. Рассказывал, что грамотей знают много прежних секретов, что они ходят по старым местам и выносят оттуда оружие и разные вещи, что нашим Высолькам очень повезло на грамотея, сразу видно, дело он знает, хотя и выглядит полудохлым.

Я тоже проникся к грамотею уважением, вот так раз – и Старый Ник мертв. Так ему и надо, поедателю пиявок.

На гром сбежались почти все, кто мог бегать и кому было нечего делать, наверное, почти половина деревни. Все мы остановились там, где река выбиралась из тесного русла и разливалась по широкому плесу. Собрались на берегу и стали ждать, и скоро увидели сома, он плыл вверх израненным брюхом и разочаровывал – не думал, что Старый Ник так невелик. Да, к нашему всеобщему удивлению, сом оказался совсем не таким, я думал, что он по крайней мере в два раза больше, а он был не длинен, хотя и толст. Видимо, размеры увеличила его слава и размах разрушительной деятельности.

Течение вынесло сома на отмель, и он там застрял в песке. Староста Николай громко закричал, как настоящий начальник, прыгнул в воду и воткнул вилы сому под жабры. Все обрадовались.

Кто-то достал веревку, мужики спустились к реке и стали обвязывать этой веревкой хвост. Потом все впряглись в лямку и поволокли. Но Старый Ник оказался тяжел, и вытащить

его на песок не получилось, так что пришлось разделить его на три неравномерные части. Этому старому и поросшему мхом негодяю отрубили голову и хвост, брюхо же разрезали вдоль, а требуху вышвырнули в воду. Хвост сказал, что зря, надо было в ней поискать, мало ли в ней чего обнаружится, вдруг самовар?

Смотреть на то, как жители деревни ломают Старого Ника, мне отчего-то не хотелось. Грамотей тоже не смотрел. Он, как мне показалось, тоже испытывал некое разочарование.

Назавтра грамотей на берег не вышел. Мужики, впечатленные судьбой Старого Ника, принесли грамотею разной еды, грамотей, конечно, сильно объелся. У него разболелся живот, и он весь день провел на гумне дома старосты в обнимку с бутылкой с горячей водой. Иногда он протяжно стонал, а иногда пел непонятные песни. Хвостов пояснил, что это так у грамотеев полагается – после какого-то дела всегда впадать в ипохондрию, отец Хвостова, который видел грамотея на ярмарке в Кологриве, говорил, что на следующий день после выступления тамошний грамотей всегда лежал под крыльцом и сильно грустил.

А на послезавтра грамотей на берег все-таки выбрался. Он шагал медленно и опять с помощью костыля, опираясь на него подмышкой и довольно часто останавливаясь, чтобы отдышаться, плюнуть на землю и избить встречный куст или сорняк. Мы с Хвостом шагали за ним чуть поодаль, ожидая, что он будет делать.

Хвостов, как некоторый знаток, уверял, что грамотеи люди весьма в поведении колоритные. Вот кологривский грамотей, бывало, как делал – поднимется утром и идет куда-нибудь с отвращением на лице. А как надоест ему идти, начинает блажить, одежду на себе рвет, плачет, поговорить хочет. Вот так отец Хвостова как-то близ Кологрива шагал по лесу, а навстречу ему как раз грамотей в печали и вывалился. Остановил грамотей хвостовского отца, спросил – отчего так в апреле березы шумят – и, не сходя с места, подарил нержавеющей застезку.

– Вот давай и мы тоже, – сказал Хвост. – Пойдем ему навстречу.

Мне этот план понравился, мы обогнали грамотея и пошагали ему навстречу, а когда до него было совсем немного, остановились и стали стоять просто так у тропы, как бы невзначай. Грамотей приблизился к нам. Про березы он не стал спрашивать, сказал, что мы похожи на свиней, и пошел дальше.

Хвост заметил, что все идет как надо, грамотей в нечеловеческом настроении, надо просто еще раз забежать невзначай вперед. Забежали. Во второй раз он смотрел на нас дольше, а потом треснул Хвоста костылем по спине, обозвал нас грязными попрошайками и даже немного погнался, пришлось убежать.

Получилось весело. Особенно когда грамотей запнулся за корень и покатился по земле, больно охая и бранясь.

Хвост сказал, что никогда не слышал такой удивительной ругани, а я подумал, что мало кто может так искусно работать словом. Поднявшись, грамотей сказал, чтобы мы не подходили к нему и не мешали, после чего снова отправился к реке. Но мы за ним все-таки проследили.

Грамотей добрался до берега, там была копна, ее накосил для своих коз староста Николай, грамотей приблизился к этой копне и упал рядом, совсем немного не попав в сено.

На следующее утро на солеварке стал давить густой раствор, ну и пошло. Пресные дни случались редко, и мне сделалось не до грамотея, с утра до вечера я катал соляную кадку и жарил на сковородке соль. Соли доставалось много, так что и матушка мне на солеварке помогала, а за Тощаном стала присматривать бабка Хвостова, старая женщина.

Хвост в обед приходил на соляной двор, чтобы выпросить соли и поболтать от скуки, рассказать, как там вообще все происходит, как овес, как капуста, как грамотей. Овес ничего, уже скоро молочный, капусту, как всегда, съели гусеницы, а грамотей жег. Я не понял, и Хвост стал рассказывать.

Грамотей, посидев пару дней на берегу реки, сделал себе отдых. Увидев мужиков, шедших корневать, он зазвал их к себе и выучил играть в буру. Проиграв для начала Павлуше Кошкину чернильницу и стеклянный шарик, он потом отыграл у него шарик и чернильницу обратно, а вдобавок еще кожаный кушак, шапку и в долг штаны. Остальные мужики проигрывали штаны не в долг, чем чрезвычайно развеселили грамотея, он пришел в хорошее настроение, придумывал мужикам обидные прозвища и всячески веселился.

Староста Николай, пришедший посмотреть, почему мужики не работают, заразился азартом сам и в первый же день проиграл грамотею копну сена. А грамотей вечером эту копну сжег, смотрел на пламя и что-то писал в свои бумаги. Проигранные штаны и лапти грамотей, впрочем, мужикам вернул. От этого мужики грамотея зауважали еще больше, в нашей деревне никто никогда сено не жег.

Староста же немного озверел и всем мужикам строго запретил играть с грамотеем в буру, а самому ему велел не отвлекаться на разные досужие упражнения, а заниматься тем, зачем его позвали, – погоду отписывать. Грамотей сказал, что он и так каждый день этим занимается, то, что он не сидит и не пишет с утра до вечера, как истукан, не означает того, что он не работает. Потому что работает он всегда, и когда сидит, и когда идет, и когда ест, и когда пьет, и когда спит, он тоже работает. А художника обидеть может каждый, каждый чумазый, проходящий мимо, норовит кинуть в художника камень.

Но вообще, если уж совсем честно, август заканчивался, а толка от грамотея видно не было. Тучи собирались на другом берегу и щедро мочили лес и все чаще перебирались на нашу сторону. Дожди получались тяжелые, и овес под ними ложился в землю. Староста тревожился и требовал от грамотея наладить погоду.

Грамотей вроде бы старался. Он установил на берегу реки загородку от ветра и дождя и ходил в это укрытие каждое утро. В пресные дни я оставлял солеварку, и мы с Хвостом частенько подкрадывались к этой плетеной загородке, чтобы узнать, чем занимается грамотей, но занимался он всегда одним и тем же.

Спал.

Он делал это весьма ловко, так что и с близкого расстояния трудно различалось, спит он или нет. Грамотей придавал фигуре рабочее и задумчивое положение, на нос садил зеленые непроницаемые очки, так что о закрытости глаз судить тоже не получалось. И лишь безнаказанное кружение над ним злых осенних мух выдавало сон.

Когда к нему приближался кто-то из мужиков, грамотей тут же оживал и начинал писать, наклонять голову вбок и чесать щеку, мы же с Хвостовым умели подкрасться незаметно. Мстительный Хвост, помня об ударе костью, заряжал рогатку шипучими жуками, забрасывал их спящему грамотею на шею, а потом мы наблюдали, как тот с криками катается по земле, стараясь этих жуков выловить. Или заряжал пулюкострел тонкой проволокой и стрелял грамотею в ухо. Грамотей просыпался с воплем и бешено тер ухо, полагая, что его укусила гремучая оса. Или еще какое раздражение устраивал, в этом Хвост похож на Тощана, хотя и не болеет.

Впрочем, эти забавы происходили все реже и реже, осень совсем приблизилась, дожди почти не прекращались. Иногда они были ленивые, похожие на водяной пар, опускавшийся из туч, иногда равномерные и сводящие с ума, редко резкие и проливные, Хвост говорил, что в такие дожди грамотей из риги не казался. В дни же ленивых дождей он гулял по окрестностям с замшелым видом, устраивался под деревьями и чиркал в записную книжку.

Дрова и хворост отсырели и горели все хуже, но солевой раствор неожиданно приобрел еще большую гущину, хотя обычно осенью происходило наоборот. Упускать эту возможность не хотелось, и я опять начал жарить соль. Соли хотелось запасти побольше, весной, когда уйдет последняя вода, соль сильно поднимется в цене, можно будет обменять на продукты. Соляная скважина – это добро, только из-за нее мы и выживаем кое-как. Вообще

в этом году соли мы набрали, но все равно соли много не бывает, в начале мая за горсть соли дадут горсть полбы, а то и пшена.

Я помню, как раз была тяжелая соляная неделя, я уходил на солеварню еще в теи, в туманных влажных сумерках, и возвращался тоже в сумерках, только уже в вечерних. Сильно уставал и, придя домой, сразу валился, даже с Тощаном драться не хотелось. Да и на Тощана эта сырость и мгла тоже подействовала, прижала его к печи, так что его верные мыши, почувствовав, что рука повелителя ослабла, разбежались.

В тот день уже ближе к вечеру постепенный изматывающий дождь сменился дождем злым и колючим. Я не успел закрыть очаг листом железа, огонь залило, и снова развести его я не смог, рассол остыл, вода пропитала все вокруг. Я понял, что устал от соли, затащил сковороду и кадку под навес и отправился домой. Я шел через воду, которая лилась с неба, и не шел, а пробирался. Укрываться от этой воды было совсем бесполезно, разве что надеть на голову ведро. От холода же защитился дерюгой. Вода сквозь нее все равно пробиралась, но тепло вымывалось не так скоро.

Вернувшись, я застал дома грамотея. Он сидел за столом, пил отвар и рассказывал истории про какую-то выхухоль Виолетту. Кто такая выхухоль, было непонятно, кажется, животное, похожее на бобра, но приключения с этой Виолеттой происходили самые что ни на есть. И матушка слушала, и Тощан из-за трубы показывался, смеялся тоже.

Мне грамотей кивнул, что меня опять удивило. Я думал, что он захочет меня поколотить за наши с Хвостом подлые проделки, но грамотей про них не вспомнил, рассказал еще одну историю про эту Виолетту.

Матушка сказала, что грамотей у нас временно, на несколько ночей всего. В риге, в которой он жил у старосты Николая, прохудился потолок, и дождь лил внутрь, поэтому грамотей и попросился к нам. Староста Николай грамотея к себе не пускает, потому что беременная старостина жена грамотея сильно боится. Мне было все равно, я спать хотел, переоделся в сухое, поел, кипятка напился, да на печь.

Утром, еще до рассвета, до первых лягушек, грамотей сбежал. Он приготовился еще ночью, матушка с Тощаном спали, а грамотей тайно пил воду, скрипел хромым костылем и бормотал. А утром он поднялся с лавки, подкрался к двери и долго плевал в замок, а потом отомкнул его потайной изогнутой спицей. Украл, конечно, два кисета с солью.

Ему следовало бежать вдоль реки до дальних бродов, но он отчего-то решил бежать через мост, потому что через мост ближе и тропа там ровнее, не то что эти понадречные закавыки.

Мужики, само собой, дожидались его за мостом, сидели в кустах с дубинами. Грамотей попробовал бежать. Хвост, который пошел с отцом и братом, рассказывал, что грамотея били сильно, но пощады он не просил, терпел молча.

Потом, когда побили уже хорошо, так что стоять у грамотея не получалось, сломали пальцы на руках. Отдельно сломали, чтобы неповадно было. Тут грамотей уже кричал.

Потом грамотея бросили в канаву.

Это уж как полагается.

Глава 2. Осенью

Волки смотрели вверх с надеждой и укором.

Вообще-то я ожидал волков, ничего удивительного в том, что они нас подстерегали, не было, они каждую осень этим занимаются. В прошлом году троих напрочь загрызли, ушли люди в лес, больше их никто не видел, волки. Да, я ожидал, поэтому и соли в карманы набрал и волкобой проверил, хотя я волкобоем не умею размахивать. Не думал, что их так много выскочит. Никогда такой большой стаи не видел, голов пятьдесят, что странно, обычно волки больше десятка не ходят, им есть просто нечего, а тут... Под деревом все посерело от их спин, стояли и смотрели. Терпеливо.

– Что делать будем? – всхлипнув, спросил Хвост.

– Ждать, – ответил я.

Осенняя погода в том году совсем испортилась. Дожди в жижу размыли поля и тропы, выходить из дома стало невозможно, и весь сентябрь мы провели под крышей. Работы и дома хватало, перемалывали запасенную летом соль, готовились потихоньку к зиме, чинили крышу, которая все чаще не выдерживала воду. А уж когда пришла настоящая осень и в один день замерзла река, мы с Хвостом отправились в лес за хворостом.

И встретили волков.

На волков мы наткнулись сразу за мостом, вступили в лес, а тут и волки, пять штук, а потом шесть. Матерые и сильно обросшие густой шерстью к зиме совсем волки, к долгой зиме. Раздумывать они сильно не стали, сразу кинулись, не откладывая трапезу.

Хвост выхватил волкобой. Он его запасливо хранил за спиной – чтобы не тратить движений, а сразу в один размах, пробить волчий череп. Так у него и получилось, в один размах. Гирька легла ровно между глазами, волчий череп костяно хрустнул, волк упал, перекатился по земле, лягнув воздух лапами.

Но второй раз Хвостов уже взмахнуть не успел, слева кинулся зверь и хорошо, что перехватил Хвоста за рукоять, а не за запястье, запястье волк бы разорвал. Рукоять волкобая хрустнула, и Хвостов остался без оружия. Тогда в дело вступил я.

Волк бросился на меня, я встретил его горстью соли. В морду ему, в красную жадную пасть, в горло, в глаза.

Волки не любят соль. Не знаю уж почему, но не любят. Если вернее, совсем ее не переносят. Немного соли в глаза – и они слепнут, а если соль попадает на язык...

Мелкая, как пыль, тяжелая, как мокрый песок.

Кто обращается с солью лучше меня? Кто знает соль, кто лучше чувствует соль? Я знаю, как нужно правильно кинуть соль, чтобы она распределилась в воздухе веером, чтобы волк вдохнул соляное облако, чтобы мелкие части попали ему в нос, чтобы соляная крупа врезалась в глотку и чтобы часть соли ушла вправо, на второго, несущегося ко мне волка.

Я учился метать соль с пяти лет. С одной руки, с двух, на скорость, на меткость, как угодно, я в этом мастер. Я могу попасть в яблоко с десяти метров сплавленным соляным куском.

А если использовать рогатку, то и с тридцати.

Но тут рогатки не потребовалось, Хвост убил одного волка, я убил второго, третий ослеп и теперь бегал кругами, остальные их друзья не стали стесняться. Это обычное при встрече с волками поведение – надо убить пару штук, и можно спокойно отступать, оставшиеся в живых волки утрачивают интерес к жертве и нападают на уже поверженных собратьев. Мясо должно быть легким, это главный волчий завет, другие качества мяса волков занимают мало.

Пока волки ели своих товарищей, мы с Хвостовым отправились дальше, хотя надо было возвращаться домой, если по-умному-то, но в тот день ум в нас не очень шевелился, не знаю уж почему.

Хвороста осенью в лесу не так уж много, за лето выбрали, а новый нападать не успел еще, так что пришлось отойти подальше. Ну, мы с Хвостом и отошли, набрали по вязанке, а когда поняли, что это мы зря, то поздно уже было – волки со всех сторон обступили. Точно из-под земли повылазили. А мы с Хвостом дурачками оказались, конечно. Да и волки по осени стали хитрее. И голоднее, разумеется. Чувствовали приближающуюся зиму и нагуливали круглые бока, поедая все, что попадалось на пути, лягушек, мышей, друг друга.

Они кинулись к нам все разом, и тут уж от них никак не отбиться было.

Я нарочно выбрал дерево потолще, дуб обхвата в четыре, не меньше, а то и пять. Если влезть на сосну или на елку, на березу, то у такой стаи появится соблазн дерево подгрызть, так тоже бывало. А так они не грызли, просто смотрели на нас желтыми глазами, молчали, перебирая иногда тяжелыми лапами, поскуливали: слезайте, ребята, мы ведь ничего, мы поиграть только.

Волков пересидеть можно. Еды, конечно, с собой нет, но желуди-то на дубу есть, насобирать ничего не стоит. Конечно, сырыми их жевать приятности мало, но выбирать особенно не приходится. Воды тоже много – мелкие ветки сосульками укрыты, бери да грызи, только осторожно, чтобы горло не простудить. Сами ветки широкие и толстые, не упадешь. Да, волков пересидеть можно.

Если только их не полсотни.

Братьев у Хвоста тоже, кстати, много, они подождут пару дней – и отправятся нас искать, сунутся Хвостовы за мост, посмотрят на земельку, следы увидят, увидят, что тут волков целые сонмища, и в лес не сунутся. Хвоста им, конечно, жалко, как-никак брат, но, с другой стороны, себя всегда жалче. Кому охота быть съеденным на ровном месте?

Матушка тоже рисковать не станет. Она меня, конечно, любит, но тоже в лес не полезет, ей надо Тошана поддерживать.

Так что приходилось устраиваться. У меня была пила раскладная, а у Хвостова большой топор, стали пилить ветки для огня и для шалаша. Дуб в своей середине имел широкую развилку, в этом месте я вырубил небольшое углубление для огня. Вокруг большими ветвями, спиленными Хвостом, устроили что-то вроде гнезда – ограду, не позволявшую вывалиться к волкам во сне. Над головами сложили плотный шалаш от ненастья, стали как-то жить. Волки, глядя на нас, тоже перестали стоять и улеглись внизу, волк, как я уже говорил, существо терпеливое, незатейливое, неотвратимое, если решил ждать, то уж дождетсЯ, такая его волчья добродетель.

Жизнь на дереве не очень сложна, скорее скучна, особенно когда погода сырая, гуляет от мороза в склизь и обратно. Поэтому говорили. В основном о еде да о волках. О волках больше, о еде говорить плохо, потому что сразу тоска наваливается, хотя к голоду мы сильно привычные и спокойные. Вот лично я могу вполне себе прожить без еды неделю и даже покачиваться не начну, а если на дереве сидеть, так и месяц можно. Правда, месяц сидеть на дереве не хотелось, потому что все-таки зима скоро. А потом волков, конечно, не пересидеть, это я сразу понимал. Волков много, они станут ходить и питаться по очереди, нам же убратЬся с дерева некуда.

А вот грамотеи, по уверениям Хвостова, знали много чего против волков. Есть такие особые песни, рассказывал он, только не протяжные, а быстрые, как бормоталки, идет грамотей по лесу, видит – волки, так он сразу начинает бормотать особыми словами, от которых волки начинают кидаться друг на друга, а про грамотея забывают.

Или просто берет и зашибает волка словом. Есть такие слова, которыми можно вполне волка и убить, вот так произносишь его погромче – и у волка в голове главная жила лопаеТся.

Но такие слова грамотеи никому не сообщают, тайна ведь. Или гранаты те же. Вот Старого Ника он убил подводной гранатой, а есть еще другие гранаты, земельные. И набиты они мелкими шариками, нарочно для того, чтобы волков шинковать. Только надо хорошенько спрятаться или лечь, чтобы самого не посекло. Да и иные способы есть.

Я спросил, почему тогда грамотей, когда его мужики били, а потом в канаву кидали, не применил эти слова и способы, а Хвост ответил, что тут все понятней понятного – грамотею нельзя человеку вред причинять. Грамотей в сторону людей только с благими целями сочинять может, а иначе у него вся творческая сила иссякнет. А без творческой силы грамотей что есть? Ничто. Себя презирает, по кускам разваливается, причем по-настоящему разваливается, уши гнить начинают, волосы выпадают...

Я напомнил, что волосы они сами себе выдирают, для вдохновения. Хвостов ответил, что для вдохновения они выдирают, это да. А те, что не выдраны, сами по себе выпадают. А я поинтересовался: а если грамотей – женщина? Она что, тоже лысая?

Хвостов смеялся так, что чуть с дерева не свалился.

После чего сказал, что женщин грамотеев не бывает, не принимают их в грамотеи, так уж повелось. А вообще хорошо бы противоволчье слово узнать...

Я предложил от нечего делать самим придумать слово для травли волков, и мы некоторое время действительно придумывали, иногда для проверки поглядывая вниз на самих волков. У Хвоста придумывалось все на «сдохни» и «растерзай», я пытался придумать поинтереснее.

На волков наши уроки никакого впечатления не оказали, как лежали, так и продолжили лежать, позевывать. Даже прибавилось их, видимо, подтягивались на свежее мясо. В голову мне запала неприятная мысль про то, что это для волков бестолковое занятие – если мы с Хвостовым свалимся с дуба и достанемся им на корм, то каждому волку причтется совсем немного, поэтому смысла так терпеливо вылеживать нас совсем нет. Жаль, что объяснить это волкам не получалось, впрочем, как и растерзать их придуманным словом.

Когда от этих неудобных слов язык стал совсем квадратным, мы остановились и молчали довольно долго. Потом Хвост сказал, что придумывать слова не только сложно, но и, пожалуй, опасно – а вдруг придумается другое слово и не волка убьет, а нас?

Помолчали. Приближался вечер, в природе затихло и внезапно стало слышно, как громко задышали волки. Этим дыханием наполнился воздух вокруг нашего дуба, причем волки как-то усилили громкость, так что стало казаться, что дышит все вокруг. Хвостов стал нервно по второму разу рассказывать про повадки грамотеев, погромче, лишь бы не сидеть в этом дыхании, я его понимал.

А потом стал рассказывать я. Почему-то у меня в голове остались только истории про выхухоль Виолетту и ее дурацкие похождения. Правда, рассказы, рассказанные мне самим грамотеем, быстро закончились, и я стал придумывать другие необычные истории из жизни этой самой длинноносой Виолетты.

Оказалось, что это не так уж сложно. Я как-то очень хорошо представлял себе эту Виолетту. То есть я не знал, как выглядит непосредственно выхухоль как существо, но выхухоль как Виолетта мне представлялась. Я придумал историю про то, как Виолетта боролась с нашествием саблезубых мышей с севера. Историю про то, как Виолетта едва не утонула, но ее спасла таинственная Тень. Про то, как выхухоль Виолетта сломала заднюю ногу и целый месяц ходила на трех.

Про сломанную ногу получилось неожиданно смешно, Хвост хохотал так, что опять едва не упал к волкам, они обнадежились и поднялись на лапы, задышали чаще, так что воздух сильнее наполнился их вонью. Я не удержался, достал из кисета соль и стал швырять в этих тварей. Они, конечно, разбежались, и дышать стало полегче, жаль только, что соли потратил. Но какое-то время волки к дубу не подходили, держались поодаль.

Так мы просидели два дня и две ночи. Жевали твердые и чуть сладковатые желуди. Много их нельзя, получишь заворот кишок, так что съели по горсточке всего и водой запили. Хвост сказал, что в старину желудями любили питаться бывшие свиньи, а теперь желуди остались, а свиней нет, ни диких, ни домашних, все повывелись, даже в Кологриве. Нет свиней, нет птиц, нет дорог, ничего нет. Только тропы, только волки. Кажется, они всех уже сожрали. Вот только выхухоль Виолетта еще где-то есть, сидит в норе.

По ночам было холодно. Мы жгли сухие ветки, но тепла от них получалось мало, больше свет да искры. Сам огонь тоже горел небольшой, отогревались лишь пальцы на ногах или на руках, на туловище тепла уже не хватало. Я мерз молча, Хвост, как всегда, ныл. Говорил, что у него скоро родится брат, поэтому его пропаданию расстроится не сильно. Что дома его никто не любит, братья его лупят и втайне хотят убить, он давно заметил. И так далее.

На третью ночь волки начали выть. Выли они тоже по очереди, пустились с наступлением темноты и продолжали до утра. Думаю, они это нарочно, чтобы измотать нас. Я не спал. Хвост тоже не спал, в голове все дребезжало. После рассвета волки замолчали, и стало по-настоящему опасно, тут я окончательно понял, в чем заключается охотничий секрет этих песен. Волки замолчали, и я почувствовал, как немедленно проваливаюсь в сон. Я уснул легко и беззаботно, а когда проснулся, увидел, что медленно сползаю по стволу вниз. Я ухватился за ветку и задержался, руку в кровь разодрал, но все равно завис. Волки приплясывали между корнями, поскуливали и ставили друг на друга лапы.

Втянулся наверх. Хвост тоже сползал. Висел, опасно свесившись с ветки. Я поймал его за ворот, Хвост не проснулся.

Волки терпеливо улеглись. Я разбудил Хвоста, он поглядел на меня одурело. В голове было железо. Я знал, что вот-вот усну снова. Пришлось привязываться. Но выспаться толком все равно не удалось, подул ветер, пронырливый и холодный, как бы мы ни пытались устроиться, он проникал к телу и выдирает из сна.

Мы мучились полдня, потом придумали способ. В развилке к тому времени прогорела довольно большая круглая яма, я перекинул над ней несколько толстых веток и улегся. От угольков поднимался равномерный жар, я оказался как бы в потоке восходящего тепла, оно обтекало спину и согревало внутренности. Правда, спать таким способом получалось попеременно, один спал, а другой следил, чтобы угли тлели нежарко и чтобы не остывали совсем. Примерно через час приходилось просыпаться и обновлять угли ветками и листьями, но это было лучше, чем вообще не спать.

Я очнулся оттого, что Хвост тер мне уши и что-то кричал. И потому, что он тер мне уши, я никак не мог ничего услышать. Уши у меня давно отморожены, если к ним приложить силы больше, чем требуется, они болят и могут отвалиться.

Да, я проснулся. В голове было тупо.

– Заморозок! – кричал Хвост. – Заморозок идет!

Да.

Заморозок.

Лес наполнился ледяным шумом. Стеклянным хрустом, звоном и звуками, которые издает согнутая пила. И другими звуками, пониже, точно к нам шагала выше леса великан, и под его ногами трескалась и ломалась замерзшая земля.

Заморозки всегда осенью. Из воздуха вдруг разом исчезает тепло, все крошки тепла, и воздух делается тяжел и обрушивается на землю, как ледяной топор. Если попасть под этот топор...

Вся вода, которая есть в теле, замерзнет и быстро разорвет тебя изнутри. Но это если тебе повезет, если ты окажешься совсем под лезвием ледяного клинка. Если оно пройдет рядом, будет гораздо хуже. Холод не успеет пробраться глубоко внутрь, у тебя лопнут глаза,

сгорит и слезет кожа, и ты будешь умирать уже долго. А если заморозок только заденет тебя, улыбнется, проходя мимо, то ты лишишься немногого. Всего лишь ушей и пальцев.

– Волки ушли! – почти в ухо крикнул мне Хвост.

Я поглядел вниз и увидел, что волки на самом деле ушли, под деревом их нет, остались только овальные пролежни в снегу. Волки слышали заморозок, убежали, закопались по своим земляным норам и сбились в дрожащие горячие клубки. И нам пора бежать.

Да, пора было бежать. Если не хотим остаться на дереве навсегда. Примерзнем к толстой коре и отлипнем только весной, и нас подберут новые весенние волки, веселые и голодные.

Мы бежали, Хвост первый, а я отстал, задохнувшись липкой паутиной.

Но успели.

Заморозок вступил на берег, сломал кусты, уронил несколько деревьев и выпил воду из реки, превратив ее в лежащую на земле сосульку. Мост, по которому мы перебрались, выгнулся и разлетелся в стороны острыми щепками. Все. Холодная воздушная сила потратилась на реку. Мы стояли над омутом, над тем самым, где жил Старый Ник, и смотрели на другую сторону, где теперь уже белела зима.

– Это тебе не волки, – сказал Хвост.

– Что? – не понял я.

– Да про грамотея-то. От волков у него, может, слово какое и есть, а против заморозка... Околел, наверное. То есть наверняка околел.

Наверное, околел, тут я с Хвостом согласен был. Хотя кто его знает, заморозок косо ударил, могло и не захлестнуть. Все равно зиму не протянет. В зиму в домах-то холодно, а так, под кустом... Волки и то не все переживают, куда уж грамотею.

Я вспомнил, как в раннюю весну мужики ходят по лесу с топорами и ищут выморощенные волчьи гнезда, волки в них мерзлые и неживые, остается только вырубить их из земли, шкуру снять и шубу править. И грамотея, наверное, найдут, только зря, какая из него шуба...

– Надо весной поискать, – сказал жадный Хвост. – Грамотейскую лежку. Хоть пуговицы срежем.

А я подумал, что мне его как-то жаль. Грамотея. Вот так умереть. В холоде, в одиночестве, бессмысленно, забыто, на другом берегу.

Ладно, пошли домой.

Дома матушка меня долго била, кормила и плакала. Тощан радовался. В печке трещал огонь. В окнах трещал мороз. Кости у меня трещали, и не случайно – на следующий день свалилась оттепель. Так часто бывает после заморозка. Растаял быстро снег, землю отпустило, и из труб ударил рассол. Плотный настолько, что в нем почти стояла ложка. Как всегда упускать это было нельзя, я один уже никак не справлялся, и матушка работала на солеварне со мной. С Тощаном возникли понятные затруднения.

Пока мы сидели на дереве, у Хвостова на самом деле родился брат, и бабка Хвостова больше не могла сидеть с Тощаном. А я выжаривал по полтора мешка соли в день и не успевал засветло, матушка мне помогала.

Сначала мы грузили его в тачку и таскали с собой на соляной двор. Это Тощану даже полезно, поскольку с солью рядом находиться любому полезно, особенно если плохо дышится. Три дня все было хорошо, потом Тощан задохнулся и потерял сознание.

Я, конечно, успел прыгнуть, но поймать его не смог, так что Тощан опрокинул на себя соляную сковородку и обварил ногу. Кожа слезла, Тощан орал и не мог ходить, матушке пришлось обменять целый куль соли на склянку пихтового масла. Масло помогало, нога гнила меньше, но было ясно, что лучше Тощана на солеварню не брать, лучше ему сидеть дома, мог ведь и совсем свариться.

Только вот с кем ему дома сидеть?

Одного Тошана дома оставлять матушка не хотела, разумно опасаясь, что бестолковый Тошан мог напороться на светец, или удариться о стол головой, или просто задохнуться до смерти, или в печь залезть, Тошан всегда придумывал себе новые беды.

Или мыши, таившие на него давнюю обиду, могли прийти разом и съесть этого дурака.

Нет, Тошану требовался присмотр.

Матушка обежала все Высольки, но никто с Тошаном сидеть не согласился, даже за соль. Всем было известно, что Тошан больной, многие считали, что это не заурядный непродых, а хуже. Конечно, в глаза никто не говорил, но я-то знаю – в деревне думали, что в легких у Тошана живет угорь и что этот угорь выдыхивает половину воздуха, так что самому Тошану уже не хватает. Угрем никто заразиться не хотел, ну, разве что старая бабка Хвостова, которой было все равно. Но теперь у нее имелся еще один свой внук.

Когда матушка поняла, что с Тошаном сидеть некому, она отправилась к грамотею, я отправился с ней. Я говорил, что скорее всего грамотей вымерз и мы живым его не найдем, но матушка не слушала, так и пошли. Тошана накормили, привязали к скамейке старыми вожжами, чтобы спал и не безобразничал, и пошли.

Грамотей почему-то оказался жив, живучий нам такой попался грамотей.

После избиения грамотей поселился на том берегу, возле дуба. Ноги ему подбили, пальцы раздробили, костыль поломали, не ходок совсем стал. Сначала жил стоя в дупле, потом, когда пальцы срослись немного, поставил кривой шалаш. Волки грамотея на самом деле не трогали. Наверное, Хвостов прав, грамотей какую-то хитрость противовольчью знал. Травилку, или спотыкач, или свисток у него какой имелся, я слышал, есть такие. Во всяком случае, волки грамотея сторонились. Я подумал, что вот хорошо бы знать этот самый секрет, если бы мы его знали с Хвостом, не пришлось бы на дубу куковать.

Первое время грамотей питался рыбой. Конечно, со сломанными руками ловить затруднительно, однако при желании мелочи можно набрать и ногами, достаточно обладать терпением и рыболовной сноровкой. Хвост, кстати, рассказывал, что многие грамотеи имеют не только сильные пальцы рук, некоторые развивают еще и ножные пальцы. Его, Хвостова, отец говорил, что тот грамотей, которого он видел на Кологривской ярмарке, мог писать свои писания не только руками, но и ногами тоже.

Более того, он мог ногами есть.

Вот и этот, наверное, так. Да и помимо рыбы на том берегу можно было кое-как питаться, земляные орехи там всегда росли лучше, чем на нашем берегу, и крупнее. Кроме того, мужикам, которые грамотея побили, сделалось немного стыдно, и они стали присылать грамотею какой провизии, кто полбы, кто репу, кто отрубей, а староста Николай вроде как отправил корзину сушика. Так что совсем с голода грамотей не умер.

Впрочем, когда мы с матушкой нашли его на другом берегу, выглядел грамотей не очень. Он сидел под дубом на камне и разглядывал колени. Штанов на грамотея не сохранилось, они были обрезаны выше колен, сами колени походили на шары, распухли и напоминали гладкие блестящие гули. Это от голода. То есть от неправильного питания, недостаток питательных веществ, ну да и старость тоже – я заметил, что грамотей сильно постарел и заметно ухудшился по сравнению с летом. Волос у него сохранилось меньше почти в три раза, а те, что остались, разбежались по краям головы, открыв на своем бывшем месте обильные шрамы разного возраста. По этим шрамам читалось, что судьба разочлась с грамотеем от души, не скупясь, не стесняясь. Большая часть шрамов была продольной и поперечной протяженности, однако имелось и некоторое количество полукруглых отметин, тогда я не понял их происхождения, сейчас, конечно, знаю – от кружек.

Грязный он был. И лицо, и колени, и ступни – он сидел без ботинок, а ступни еще и красные через грязь. Видимо, заморозок его все-таки слегка зацепил, ноги отморозил. Не в гной, но все равно отморозил.

Грязный и совсем размок. Видимо, за время дождей. Размок и от этого сильно распух, наполнившись сопливой осенней влагой, распух, разрыхлился и побелел и теперь напоминал боровик-переросток, ткни в бок – и разъедется гнилыми потрохами.

Размок, постарел, обморозился.

Не очень он в таком виде походил на грамотея. То есть совсем не походил, доходяга какой-то, а не носитель культуры.

Да и ранца у него больше совсем не осталось, мужики отобрали. И зеленых очков. Ботинки тоже отобрали. Перевязь. Топор. Только голые грязные пятки остались. Обычная грязь, не целебная, целебная водилась по берегу дальше, возле Вонючего ручья.

В обычной грязи обычный грамотей.

Но в унынии он не пребывал. Сидел себе, невзирая на трудности. А если честно, этих трудностей у него впереди намечалось много, хотя эти самые трудности вряд ли можно назвать непосредственно трудностями – зиму он попросту не пережил бы. Шалаш у него худой получился, ничего он в шалашах не понимал. Ему бы шалаш мхом поверху заделать, а еще лучше землянку отрыть, в землянке как-то можно. Но тут и землянка не выручила бы, без еды ни в какой землянке зиму не перетянешь, хоть камни гложи, хоть зубы ложи.

Матушка так ему сразу и сказала – пойдем с нами, если хочешь жить, а грамотей в ответ стал смеяться, и смеялся до тех пор, пока не упал с камня. Я ничего смешного не видел в этом предложении, а матушка так и вовсе обиделась, но виду не подавала.

Грамотей сказал, что от жизни он не отказывается, однако не понимает, чем он будет обязан эту жизнь отрабатывать. И сразу же заявил, что ничего, кроме своего грамотейства, он делать не то чтобы не умеет, но и не станет по соображениям невозможности осквернения таланта. Для грамотея лучше смерть, чем прочий труд. Матушка не поняла, а грамотей пояснил: грамотей, если они, конечно, настоящие, никогда не занимаются ничем, кроме сочинительства. Если грамотей возьмет в руки заступ, шкуродер или пусть хоть и обычную вульгарную стамеску, то это крайне разрушительно скажется на его способностях. Талант отнимется.

Матушка сказала, что и со стамеской, и с заступом она и сама неплохо разбирается, здесь грамотей не надобен. Задачи же грамотея просты – смотреть за Тощаном, всего-то и приключений. Грамотей поморщился и некоторое время рассчитывал, что лучше: смерть или Тощан, но потом воля к жизни победила. Правда, он предупредил, что если Тощан опять учудит что-нибудь из своего бесчинного набора, то он, грамотей, будет отбиваться всей силой, в том числе и костылем. Кстати, ему нужен новый костыль, лучше осиновый.

Матушка была согласна. Так грамотей поселился у нас. Костыль я ему выстрогал.

Матушка отвела грамотею место между стеной и печью, поставила там топчан и повесила дерюжную занавеску, за ней грамотей и начал жить, выставив пятки. Тощан, конечно, сразу воспротивился, лютовал на печке, кричал, что он не позволит так с собой разбираться, что он не давал своего добровольного согласия, что он без грамотея как-нибудь, пусть даже согласен быть привязанным каждый день к скамье. Пришлось мне немного Тощана поколотить.

Потом я спустил с чердака четыре мешка соли, и первое время грамотей спал между ними и на них, пока лишняя вода не вытянулась из тела. Но даже после этого он все равно оставался пухлым от давней дурной еды и скопившейся меланхолии, но матушка сказала, что к весне это пройдет. Я спросил ее, разве грамотей у нас надолго задержится, а матушка ответила, что она, конечно, этому не шибко рада, но если его выгнать сейчас, он, без сомнения, сдохнет, а все живая душа. Пусть сказки про выхухоль Виолетту рассказывает.

Пусть, мне-то что?

Оттепель держалась долго, так что река, превращенная заморозком в лед, начала подтаивать по краям. В эти проталины собирались со дна проснувшиеся раки, и мы с Хвостом

их собирали, вспоминая Речную Собаку. Раки вкусные, дома мы их варили каждый вечер и ели. Грамотей сначала раками брезговал и рассказывал про то, что раки питаются преимущественно утопленниками и от этого нечисты, но потом отбросил предрассудки и тоже стал их есть.

А вот Хвосту они на пользу не пошли. Вместо того чтобы относить раков домой и варить их вечером в кругу семьи, жадный Хвост готовил их втихую на опушке возле леса и не варил, а запекал в кирпичках. Отчего он, конечно, получил сильное расстройство желудка и просидел дома почти месяц, а на воздух показался синим и худым, как после двойной зимы.

Оттепель длилась и длилась. Мы с матушкой нажарили так много соли, что размещать ее было уже негде, забили весь чердак мешками. Смотреть на это было приятно, но куда больше девать соль не знали, поэтому, умерив жадность, решили уже закрыть соляной двор до следующего лета. Как-то утром я волок домой жарочную сковороду, тащил ее по земле, и она оставляла после себя скрипучий звук. Хвост поджидал меня возле колодца и напоминал жердь, одетую в одежду.

Мы поздоровались, и Хвост взялся мне помогать волочь сковороду, но на самом деле больше мешал, путался под ногами и то и дело останавливался отдохнуть. Я не торопился и тоже останавливался, слушал, как Хвост ругает своих братьев, которые с каждым годом становятся все злее и после случая с раками придумали ему обидную кличку.

Рассказав о кознях своих родственников, Хвост перешел на грамотея, тоже стал его ругать, не ругать никого Хвост, кажется, не умел.

– Зачем вы его взяли? – спросил Хвост. – От него же никакого толка. Отец говорит, что он исписался. Даже дождь отписать не смог, тоже мне грамотей!

– У него просто творческий кризис, – сказал я. – С грамотеями такое бывает иногда, ты же сам рассказывал. И он совсем не исписался.

Не знаю, с чего это я вдруг взялся его защищать. Наверное, из чувства противоречия. Надоело мне, что Хвост всех подряд только ругает. Хотя у него вся семейка такая, ничего не поделаешь, кажется, их прадед жил в Брантовке.

– Грамотей совсем не исписался, – повторил я.

– Да ладно, не исписался, – ухмыльнулся Хвост. – Исписался вдоль и поперек.

– Я тебе говорю, нет, – сказал я, а потом вдруг добавил: – Он от нас всех мышей выписал.

– Как это? – удивился Хвост.

Это было неправдой. То есть не совсем. Матушка на самом деле попросила грамотея выписать мышей. Грамотей пообещал, но ничего для этого пока не сделал, мыши чувствовали приближающуюся зиму и бесчинствовали без страха. Подъедали припасы, гадили в просо и забирались в карманы моего спального тулупа, и когда я во сне прятал в них руки, кусали меня за пальцы. Тощан, раньше с мышами справлявшийся и даже руководивший ими, сдал свои позиции. Как бы в отместку за долгое порабощение мыши съели у Тощана все волосы, оставили лысым, как горошину.

После этого матушка попросила грамотея обуздать грызунов. Грамотей вроде не отказался.

– Так это, – ответил я Хвосту. – Сел вчера утром, достал бумагу, посидел, подумал, потом что-то раз – и записал.

– Что записал?

– Откуда я знаю, что именно? Я в буквах не разбираюсь. Немного написал, четверть страницы, вот столько.

Я показал пальцами. Хотя, конечно, грамотей ничего не писал, только обещался.

– И как?

– Как-как, просто. Мыши встали и ушли.

– Врешь ты все, – сказал проникательный Хвост. – Никуда мыши не ушли, так и остались сидеть. Ладно, бывай.

– Пойдем к нам, – предложил я. – Соли поешь, чаю попьем, в шашки сыграем.

– Не, – отказался Хвост. – Мне дубовую кору как раз жевать надо. Уже неделю жую.

– Помогает?

– Ага. Понос вроде прекратился, зато тошнит. Но лучше пусть тошнит. И вообще он не настоящий.

– Кто?

– Грамотей твой. У каждого грамотея есть букварь – книга такая, с буквами, а у этого нет. Брательник рассказывал – ничего у него не было в ранце, голодранец он, вот и все. Пока.

Хвост направился домой, а я потащил сковороду дальше. Деревня встречала день дымом из труб и тишиной. А раньше Речная Собака лаяла. Где теперь собаку возьмешь, одни волки остались.

Дома было тепло. Матушка куда-то ушла, а грамотей сидел возле печки, грелся и иногда швырял в зарвавшихся мышей ржавой подковой. Мыши были грамотея проворнее, конечно.

Я поинтересовался. У каждого настоящего грамотея должен быть букварь, это такое правило. Грамотей рассмеялся и сказал, что это все сказки и сплетни. Впрочем, когда-то у него действительно был личный алфавит, но теперь его давно не осталось, он канул в превратностях жизненных бурь. Кому сейчас нужен букварь?

Букварь, действительно, кому нужен?

Букварь – это символ, сказал грамотей. Как непосредственно книга, он не нужен, грамотей его и так наизусть помнит. В доказательство этого грамотей стал рассказывать буквы и рассказал, правда, пару раз, конечно, сбился. Я сосчитал, букв было тридцать три, некоторые я запомнил, а некоторые почему-то даже представил. Я не знал, как они выглядят, но почему-то представлял, мне казалось, что буквы похожи на свои звуки.

Грамотей пересказал буквы еще раз, а потом взял и нарисовал одну угольком на стене. И сказал, что буквы вырезаны на его сердце, мне, погрязшему в постылой дремучести, не понять, да и не к чему. Буква мне понравилась, круглая и спокойная, а еще знакомая, будто я ее уже раньше видел.

Пришла матушка. Тощан, спавший на печке, почувствовал это и сполз в избу, и матушка стала его кормить кашей. Я есть не очень хотел. То есть хотел, но только головой, потому что для того, чтобы сбить голод, я, возвращаясь с солеварни со сковородой, держал под языком соляную горошину. Теперь хотелось пить, а не есть, я достал из кадки ковш воды и напился. Полегчало, впрочем, с голодом я привык мириться. Матушка предложила каши и мне, но я отказался, решив усиливать силу воли.

Грамотей же проголодался сильно, как всегда. Желудок у него громко гудел и булькал, а Тощан нарочно ел охотисто, облизывая ложку, чмокая и то и дело громко нахваливая кушанье, Тощан такой, вредный человечиска, незначителен с виду и невыносим в тесном помещении. Когда он еще не болел грудью и выходил иногда в селение, его многие били только от одного его противного вида.

Грамотей, не в силах переносить громкие рассуждения Тощана о достоинствах каши, отправился было в свое запечье, матушка сжалилась и тоже выставила ему миску. В последнее время каша впечатляла грамотея не в пример сильнее, он не стеснялся хрустел зубами и не показывал прежней надменности.

Тощан умял кашу и потребовал добавки. Матушка плеснула ему в миску еще каши, Тощан стал ее хлебать. Не забывая громко объявлять о том, что каша сегодня необычайно хороша.

Грамотею добавки не полагалось, он был этим несколько разочарован. Голод и озлобление придало ему неожиданных сил, немного посидев в закуте, грамотей вдруг вскочил и сказал, что так и быть, чтобы продемонстрировать свое расположение к хозяевам крова, он готов-таки выписать из избы мышей, равно и других вредителей.

Мне было интересно посмотреть, как именно грамотей вершит свое ремесло. Конечно, он исписался, Хвост прав, но вывести мышей вряд ли очень сложно.

Я напомнил ему, что у него нет бумаги и покалечены пальцы, но эти препятствия его ничуть не смутили, грамотей объявил, что бумага, перо, пресс-папье и другие грамотейские принадлежности ему и не нужны, такую жалкую процедуру, как выписка, он может произвести буквально чем попало.

После этого грамотей полез в печь и достал клоч сажи.

Он сказал, что вообще-то чернила изготавливаются из особых чернильных орешков, но сейчас этих орешков нигде не сыскать, поэтому для начала стодится и унылая сажа, хотя ее стоит добывать из самой верхней части трубы, там сажа не в пример тоньше, и чернила из нее получаются крепче и долговечней, главное, сажу эту смешать с хорошим мягким маслом.

А еще есть чернила из ржавчины.

А еще есть чернила из черных гусениц.

А есть чернила из черники, и их рецепт прост.

Чернила из черной крови бешеного ежа; ежа надо доставать из норы зимой, в последнюю глухую стужу, а потом держать месяц в железном садке, злить бессонницей и беспокоить сквозняками до тех пор, пока еж не придет в неистовство и кровь его не почернеет от лютой злобы.

А есть из слюны морских каракатиц.

Не каждый может правильно приготовить чернила, раньше для этого в Союзе был особый мастер, искусство которого было удивительно и велико, чернила, приготовленные им, не могли смыть ни вода, ни слеза, ни царская водка, ни даже огонь. Если бумага, исписанная такими чернилами, попадала в пламя, то огонь забирал только бумагу, буквы же оставались невредимы, напротив, твердели и были как черное олово.

А бумага? Знаешь ли, что такое бумага? Как тонка бумага? Как прозрачна бумага. Она гладка, как кожа, и остра, как сталь. Бела, как снег, терпелива, как мул. А знал бы ты, как пахнет бумага...

Грамотей принялся рассказывать про запах бумаги. Он знал несметное количество запахов бумаги. Запах бумаги, по которой едва прошли чернила, и запах бумаги, которая с чернилами была знакома уже давно. Запах бумаги, которую облюбовали клещи. Запах бумаги, поедаемой плесенью. Запах горелой бумаги. Грамотей разговорился и поведал еще о десятке запахов бумаги, в этом вопросе он разбирался, кажется, тонко. Но лучше всего он знал запах чистой, недавно выделанной бумаги, по уверениям грамотея, он был необычайно восхитителен.

Поведав о запахах, грамотей приступил к ощущениям. Оказывается, бумага была весьма разной. Шершавой, колючей, холодной, равнодушной и, наоборот, приветливой, и каждый вид бумаги издавал свою разновидность звуков, и опытный грамотей по тому звуку, с которым бумага опускалась на стол, мог определить ее качество. Потому что грамотей, если он, конечно, настоящий грамотей, будет писать только на достойной бумаге...

И немедленно рассказал историю про то, как однажды у него были две пачки бумаги, и он на них писал роман, и писал не жалея, как старые грамотеи, только на одной стороне листка, с большими полями и крупным почерком. Роман не получился, но те славные деньки он помнит до сих пор. Такой хорошей бумаги он больше не встречал, при том что был знаком с мастером, который мог в день раскатать до тридцати листов! Но старая бумага это да, ее

почти совсем не осталось, а ту, что добывают в забытых городах, использовать небезопасно. Вот был один неразборчивый грамотей...

Но про непутевого грамотея он не стал дорассказывать, загрустил, а объевшийся кашей Тощан стал с печки требовать продолжения истории про непутевого. Но грамотей молчал, а потом сказал вдруг отчетливо:

– Бумага есть мерило таланта, именно бумагой можно проверить, стоит что-то грамотей или нет.

– Как это?

– Огнем, конечно. Настоящий грамотей проверяется только огнем. Рукопись не должна гореть, только тогда она рукопись. А если горит...

Тут Тощан потребовал продолжить рассказ про непутевого или рассказать, как он будет выписывать мышей, но грамотея потянуло в другую сторону.

Мир держало Слово. Да, Слово, ведь слово Слово лежит в начале любого дела, как лежит оно в самом сердце неба. Раньше Слово звучало так, что слышать его можно было лишь через войлочные заглушки. Да и то не каждому. Но Вселенная расширяется, галактики, будь они прокляты, разбегаются, и наша несчастная планета все дальше и дальше от центра мироздания, от места, где Слово было произнесено первый раз. Да. Да. Раньше Слово сдвигало горы и расступало моря, теперь я изгоняю Словом мышей. Мы больше не говорим, мы шепчем и скулим. Колокола переплавлены в пуговицы. Где вы, колокола? Я слышу лишь жалкое и ненужное жестяное дребезжанье. Пуговичники идут по миру, пуговичники стоят вдоль дорог. Будь проклято ты, время колокольчиков.

Это выступление грамотея нам всем очень понравилось. Матушка заслушалась и немного всплакнула. Тощан сказал, что про слово это все правильно, он сам парочку слов знает, матушка тут же велела ему молчать, а грамотей тоже замолчал, а потом сказал, что мышами он вот прямо сейчас займется.

Он вышел в сени и вернулся с толстым березовым поленом. Взял нож и распорол полено от верху до низу, ловким, несмотря на пальцы, движением сорвал бересту. Разложил ее на столе и сказал, что бумаги у него свободной нет, но это не хуже, а может, и лучше, во всяком случае, хранится береста гораздо дольше бумаги, хоть тысячу лет.

Мы собрались и стали смотреть на это дело, а грамотей сидел и молчал, только ногти грыз и морщился.

Так мы постояли некоторое время, но грамотей так ничего и не написал. А когда мы простояли еще немного, он рассердился и сказал, чтобы мы ему не мешали и не отвлекали от работы, ему нужно сосредоточиться.

Мы не стали отвлекать.

Ночью я просыпался. Грамотей все сидел над берестой, думал и карябал по коре писалом. Жег лучину.

Ночью в карманах моего тулупа мыши не безобразничали, за пальцы меня никто не кусал, и я спал спокойно, не сжимая руки в кулаки. Однако утром, едва открыв глаза, я обнаружил, что мыши водят хороводы под печкой, а несколько наиболее крупных особей беззастенчиво грызли бересту, которую грамотей забыл на столе.

Сам грамотей спал на лавке.

Слово грамотея утратило вес и перестало пугать даже мышей. Хвост был прав – грамотей стал совсем негодным.

Глава 3. Зга

К Хвосту вот зашел, посидели на крыльце, поиграли в шашки.

Мне вообще-то с ним неинтересно играть, я все время выигрывал и от такой игры никакого удовольствия не получал, только скуку. Я предлагал для интереса на щелбаны играть, но Хвост не соглашался, оберегая лоб. Выиграв в семнадцатый раз, я отставил доску и сказал, что надоело.

– Смотри, не опухни от ума, – буркнул Хвост обиженно. – А то еще в шахматы начнешь играть. Грамотей-то еще тебя в шахматы не приучал?

– Тебе-то что?

– Да ничего. Только я бы с ним поменьше дружил, – посоветовал Хвост негромко.

– Да я с ним и не дружу.

– Вот и правильно, – кивнул Хвост. – Совсем правильно.

Он принялся снова расставлять шашки, но уже не для шашек, а для щелчков.

– Папка говорит, что грамотеи сами во всем виноваты, – добавил Хвост.

– В чем?

– В чем в чем, во всем. Слишком много знали. Когда человек слишком много знает, у него в голове все ломается, и он начинает.

– Что начинает?

– Дурковать. Придумывать разное. Надо брюкву сажать, а он в дудку дудит или в трубу подозрную смотрит. Или просто сидит.

– Ну и что?

– А то. Если все в дудки станут жужжать, кто работать будет? Вот и смотри.

– Что смотреть?

– Вот и смотри, как в шахматы начнет тебя учить – так это знак тебе.

– Что за знак? – не понял я.

– Насторожиться. Если уж дело до шахмат дошло...

– А что шахматы?

– Шахматы – самая грамотейская игра. Нормальные люди в нее не играют. Начнешь в шахматы играть – и все, готово.

– Что готово? – продолжал не понимать я.

– Грамотейством замазлся.

Вот оно как.

– Папка говорит, что так и бывает. Старый грамотей, когда помирать решается, он себе ученика ищет. Чтобы секреты ему передать. Смотри, с грамотеем поведешься, сам грамотеем станешь. А тебе это надо?

Хвост щелкнул по шашке и выбил у меня почти все. А вторым ударом так уж совсем все.

– Грамотей, конечно, эфирно живет. – Хвост расставлял шашки. – Работать не хочет, все отрицает, пожрать не дурак. А все остальные должны ему все это предоставить. О-па...

И сразу еще выиграл, в щелчках Хвост был мастер. Насчет грамотея не знаю, мне его жизнь легкой не казалась. Но и спорить с Хвостом тоже не хотелось.

– Ладно, пускай.

– Пускай-то пускай, только ты его гулять не пускай, пусть дома сидит, – сказал Хвост. – А то на вас уже и так смотрят косо – надо же, грамотея прикормили.

– Что ж ему, помирать?

– Все там будем, а ты смотри.

– Да что смотреть-то?

Хвост ухмыльнулся.

– А ты знаешь, как старый грамотей молодому свою силу передает? – спросил он.

– Нет. И как же?

– Известно как. За шею кусает. Только так. Это у них такой старинный способ.

– Как вупирь, что ли?

– Точно, – подтвердил Хвостов. – Как вупирь. Что грамотей, что вупирь, одна короста.

Стоит один раз попробовать этого грамотейства – и пропал человек. Одну букву написал – и все, заражен уже.

– Вранье и брехня...

– Брехня не брехня, а люди говорят. Думай сам. Спать ложишься, кол с собой бери, а то он тебя живо обграмотеит.

Хвостов начал обидно смеяться, и я ушел.

Гулять тоже не хотелось, холодно и ветер, отправился домой.

Грамотей спал за столом. Вокруг были разложены письменные принадлежности. Как оказалось, у грамотея имелся некоторый запас письменных инструментов, которые он хранил в плоском футляре, привязанном к спине. Когда наши мужики били грамотея и ломали ему пальцы, этот футляр они наивно не заметили. Нам грамотей его тоже не сразу показал, боялся, что ли. Только недавно достал, уже обжившись в избе окончательно.

Чернильница, только не та, что болталась у него на шее летом, а совсем другая, более похожая на плоскую еловую шишку размером с кулак, стеклянная и чуть зеленоватая на просвет. Чернильница лежала на боку, и даже издали было видно, что чернил в ней совсем нет, они растеклись по столу и образовали затейливую кляксу, и в одном месте даже не очень и просохли.

Чернила, кстати, грамотей действительно изготовил из сажу, как и говорил. Растер сажу, обжег ржавый гвоздь, растер получившийся обжиг и смешал все с черничным соком, а потом несколько уварил до гущины. Чернила получились хорошие и липкие, Тошан для пробы сунул в них палец, добела отмыть так и не смог, ходил с фиолетовым.

Бумагу, хранившуюся в плоском футляре, грамотей тратить не спешил, успешно заменив ее берестой. Он обдирал запасенные на зиму поленья, расслаивал кору, размачивал ее и растягивал между двумя досками, а потом медленно сушил, каждый день отодвигая от печи. Получались светло-коричневые длинные листы, на которых вполне можно было писать, эти листы грамотей шлифовал куском старой шубы, а потом сшивал в тетрадки.

Рядом с чернильницей лежал серебристый продолговатый футляр. Это была выдающаяся вещь, я таких раньше не встречал. Вообще вещи, которые меня окружали, были совсем другого качества. Обычно грубые, самодельные, изготовленные кузнецом или столяром в самих Высольках, ну или, может, в Кологриве. Каждый гвоздь занимал длину ладони, стулья с трудом сдвигались с места, ухватом можно было задавить медведя. Другого сорта вещи появлялись редко, почти совсем не появлялись.

Футляр, который лежал на столе, отличался. Тонкий и гладкий предмет, на него было приятно просто смотреть, но еще больше мне хотелось его потрогать и узнать, что там внутри.

Грамотей спал, и его футляр лежал у берега кляксы, я протянул руку и взял. Он оказался неожиданно тяжелым. И...

На меня накатило странное чувство. Я вдруг почувствовал у себя в руке не просто кусок серебра, а кусок прошлого, что ли. Того настоящего прошлого, когда мир был огромен и смел, рвался к звездам, пел, смеялся и не боялся волков. На футляре была искусно выдавлена картинка: размашисто сияла звезда, под ее лучами возвышалась штука, похожая на поставленный стоймя чертов палец, к ней шагал улыбчивый человек в чудном дутым костюме с круглой прозрачной шляпой.

Справа на плоском футляре виделся выступ, я нажал на него и футляр раскрылся. Внутри находилась штука, похожая на перо, на то железное перо, которым иногда писал грамотей по бересте. Только золотое. Да, золотое.

У старосты Николая есть золото, большой кругляк, который он таскает на шнурке на шее. Золотая монета из старых опять же времен. Золото не ржавеет, не темнеет, укрепляет здоровье, поэтому у Николая зубы белые – золото всю желтизну отбирает, если на ночь к нёбу приклеивать. Это было золото, золото сложно с чем-то спутать, это я уже понял. В серебряном футляре лежало золотое перо.

Конечно, я его достал.

Золото оказалось еще тяжелее серебра. Витая длинная ручка и блестящий стальной наконечник.

Перо неожиданно ловко легло мне в руку, пальцы нашли свои места и собрались в щепоть, я вдруг опять с удивлением почувствовал, что перо мне *впору*. Что оно отлито как бы по моему размеру, что я его раньше уже держал в руках, что я...

Дальше произошла опять странная вещь. Я совершил несколько невероятных движений – я подышал на перо, обмакнул его в еще до конца не просохшую лужицу кляксы и написал на берестовой странице букву.

И это была буква «А».

Не знаю от чего, от скрипа пера по бересте или от внутреннего слуха, но грамотей открыл глаза. Он увидел меня и золотое перо. Я думал, что он вскочит и набросится на меня, но грамотей повел себя иначе. Он не сказал ничего, только смотрел.

А потом увидел букву.

У него что-то изменилось в лице. Не удивление, нет. Сочувствие, кажется. Печаль. От этой печали мне тоже сделалось печально, я подумал, что нарушил, взяв это золотое перо, определенные грамотейские правила или традиции какие. Поэтому я быстро вернул золотое перо в футляр и отправился на печь.

Грамотей закрыл футляр и спрятал его в карман.

Я лежал на печи, а в пальцах у меня продолжалось ощущение от золотого пера. Значимость, уверенность, сила, что ли. И буква, которую я написал... Откуда-то я ее знал. То есть рука моя ее знала сама, я написал букву, как ухо почесал.

– Каждый грамотей должен сочинить книгу, – сказал грамотей. – Это обязательно. Мир изменится только тогда, когда мы снова напишем великие книги. Это сложно. Они все сгорели, никто, даже председатель Союза, не знает, про что они были. Но мы должны их восстановить. Написать заново. Каждую книгу, каждую букву.

Он не просто рассказывал, он говорил со мной и как бы с самим собой, но больше со мной:

– Игнатий, председатель Союза, написал целых две. Прекрасные книги, чудесные книги. «Молчащие Холмы» это первая, а вторая «Присутствие рыжей собаки». Мы смогли напечатать их внушительным тиражом, по пятьдесят экземпляров каждую! В Союзе всегда состоит тридцать три человека – и у каждого было по книге. А оставшийся тираж мы отправили в библиотеки...

– Я знал одну рыжую собаку, – перебил я. – Это была Речная Собака, ее утащил Старый Ник. Тот, которого вы убили...

– Старый Ник всегда начеку, – в свою очередь, перебил меня грамотей. – Я убил всего лишь сома, а сам Старый Ник жив и ждет из тьмы, не надо заблуждаться. Мне его не одолеть... Я видел его однажды, в детстве, давным-давно, на площади... он подносил дрова к костру...

Грамотей хлопнул носом.

– Каждый из нас видит его иногда, – продолжил он. – Ему сложно противостоять, он всегда убедителен. Убедителен и правдив. Да, отец лжи чудовищно правдив, он легко читает в твоём сердце...

Грамотей замолчал.

– Зачем вообще пишутся книги? – спросил я. – Я думал, грамотеи прописывают что-то определенное? Погоду там...

– Это и есть определенное, – с неожиданным жаром ответил из запечья грамотей. – В книгах тоже прописывается погода. Только погода не над одной деревней, а вообще. Погода вообще.

– Как это «погода вообще»?

– Так. Ты не поймешь, потому что не видел ничего, кроме своей Солежуйки. Грамотей... что за дурацкое название... грамотей... Не грамотей, ловец, вот точнее.

– Кого ловец?

– Того, кого надо, ловец, – ответил грамотей. – Того, кто заблудился.

– Где заблудился? В лесу?

– В лесу... Да, в лесу. В лесу, в поле, в овсе. Понимаешь, книги, они...

– А у вас есть книга? – в очередной раз перебил я. – Своя? Вот как та, про которую вы говорили... «В присутствии собаки». Только своя?

Грамотей замолчал, подошел к печке, убрал заслонку и стал смотреть в огонь, опираясь на костыль.

– Знаешь ли ты, что такое книга? – спросил он с сокрушением в голосе.

Я так понял, что это такой вопрос, на который отвечать вовсе не обязательно.

– Нет, откуда ты знаешь, дитя сиротского времени... Это мир. Мир в бумаге, спрятанный в знаках. Он живет во всех тех, кто эту книгу прочитал. Вот здесь...

Грамотей постучал себя по виску.

– Когда случилась война, сгорел не только наш мир, – сказал грамотей. – С ним сгорели сотни и тысячи других миров. Те, что были созданы нами. Книги пылали вместе с взорванными городами. Книги горели на веселых площадях вместе со своими авторами, теплились в стынущих печках черной зимы. Их рвал жгучий паленый ветер и смывала вода потопа. Мы меняли их на гнилой горох и на картофельную брагу, мы затыкали ими щели в наших жилищах, чтобы спастись от холода. Мы перестали их читать, Старый Ник был доволен...

Грамотей захлебнулся, снял с приступка чайник, налил в кружку, стал пить. Рука у него тряслась, и чай много проливался на пол.

– Да, мы перестали их читать, – повторил грамотей. – Наверное, это разгневало Создателя больше всего, да... На нас он давно махнул рукой, мы уже утратили последний образ, яростный огонь творения остыл в наших душах, превратился в золу и прах... Мы стали безнадежны и безжалостны, и Он уже не смотрел в нашу сторону. Но вот ирония – наши книги... наши дети оказались гораздо лучше нас. Они были велики и прекрасны и чисты, и именно поэтому мир держался...

Грамотей поперхнулся, откашлялся и сообщил мне зачем-то шепотом:

– Думаю, мир держался только поэтому. Ангелы собирались по правую руку Его, и Он читал им. То, что придумали мы. И ангелы смеялись и плакали, и Он смеялся и плакал вместе с ними. Никто во Вселенной не мог так, никто и нигде! Ни в бушующем пламени Асгарда, ни в мрачных норах Йотунхейма, нигде, только и только здесь. И мир устоял, уцепившись за трех праведников...

Грамотей хотел показать мне три пальца, но поскольку пальцы у него были сломаны, показал он мне всего лишь дулю.

– Но когда мы стали жечь и забывать своих детей, Его терпение истощилось... Это правильно, это все правильно, нет хуже отца, предавшего своего ребенка... а как пролог всегда смерть, смерть, смерть...

Грамотей замолчал. Я думал. Он сказал слишком много, и я мало что понял. На него, видимо, напала разговорчивость.

Потом грамотей посмотрел на свои кривые пальцы.

– Война длилась семнадцать минут, – сказал он. – Семнадцать минут... За это время атлантам, держащим небо, сломали хребет и выжгли глаза, и небо рухнуло на землю, и наступила зима. Она продолжалась почти тридцать лет... Великанская зима, во время которой замолчали все. Не игралась музыка, не писались книги, только с неба падал черный пепел, и были волки, и ведьмы, поднявшиеся из топей, сеяли и сеяли по земле жгучую спорынью. На тридцать первый год был написан «Мост через белые волосы». И пепел перестал падать. И солнце впервые взглянуло на землю за многие годы.

– И кто же ее написал? – спросил я. – Эту книжку?

– Он был из старых, – ответил грамотей. – Его настоящего имени мы не знаем, а книгу свою он не подписал... Тогда же он собрал вокруг себя тридцать трех первых. Так возник Союз.

Я слушал. Грамотей рассказывал:

– Он был не просто творчески состоятелен. Он был силен. Он мог налить в бутылку грязной воды из ближайшей лужи, поставить эту воду на стол и сочинить миниатюру. И когда он ставил в своей миниатюре последнюю точку, яд в бутылке распадался, активная грязь оседала на дно, а сама вода приобретала чистоту и пригодность для питья. Он писал повесть, и на следующую весну река уступала в сторону, пробивая иное русло и открывая плодородные отмели. И он научил этому остальных. Он научил. Он им говорил – и они запоминали. Что там, за вратами райского сада, все еще жив единорог...

Грамотей улыбнулся, закрыл глаза.

– Знаешь ли ты, что такое море? – спросил он. – Они еще остались, далеко-далеко в сторону запада. Но если идти, то можно дойти. Это вода и соль. Много воды, много соли, и если войти в этот рассол, то почувствуешь, ты же знаток соли. Ты почувствуешь, как растворяешься в нем, как в книге...

Он вздохнул.

– Союз существует до сих пор? – спросил я.

– Союз? – переспросил грамотей. – Да. Кое-кто еще остался, некоторые еще живы... раньше выполнялся план, я тебе говорил... надо было умножать количество Слова в этом мире, сочинять книги взамен старых, великие книги, они... они как соль, ты же солевар, ты знаешь. Для чего нужна соль?

– Для придания вкуса и отпугивания волков, – ответил я.

– Точно, – сказал грамотей. – Это ты очень точно сказал, для придания вкуса и отпугивания волков. Книги нужны для того же самого. Погода, вкус и волки... Без соли мир утратил бы цвет и его быстро разорвали бы звери. А мы хотели, чтобы мир стал прежним...

– Но мир как-то не восстановился, – отметил я. – Или это – восстановился?

– Ты прав, – кивнул грамотей. – Ты прав и остроумен, это редкие качества. Твой отец тоже был солеваром?

– Да. И отец, и дед. У нас все в семье варили соль, я знаю секреты...

– Достойная профессия. Мир так и не поднялся, тут ты прав, – сказал грамотей. – Падение было слишком глубоким, а мы переоценили свои силы... Слишком переоценили. Мы оказались слабы, не ловцы, совсем не ловцы...

– Понятно.

– Нет, тебе не понятно, чтобы понять это, надо потратить годы. Видишь ли, мир сдвигают лишь действительно великие книги... Знаешь, есть такая легенда, я расскажу...

Грамотей вернулся к столу, сел, накинул на плечи тулуп, а я хотел услышать легенду, но он почему-то так ее и не рассказал.

– У меня нет книги, – вдруг признался он. – Я ее начал, конечно, начал... У меня сложился сюжет, я проработал концепцию, у меня была сверхидея, я продумал образный строй персонажей, начал писать... но потом... Потом выяснилось, что я очень хорошо отписываю зубы.

– Это как?

Грамотей улыбнулся, у него самого зубы были не лучшего качества.

– Кто-то умеет хорошо смешить, кто-то заговаривать погоду или поднимать из глубины рыбу, а я зубы отписывал. Один раз отписал – заплатили, другой раз – еще лучше заплатили, ну, я и пошел по дорогам. Хорошо тогда жил, сытно, зубы-то у всех болят. А я приду в деревню, сяду в середине – и зазываю. Люди собираются, рассказывают про зубы и локтевые суставы, а я их отписываю. Тучные были времена, можно было за зуб получить целое яйцо...

Грамотей закрыл глаза, видимо, вспоминая. А я яиц вообще никогда, между прочим, не пробовал, слышал только, что они вкусные и питательные.

– А потом?

– А потом я устал. Потом стало получаться все хуже, и уже не каждый зуб я мог успокоить. Потом у меня стали распухать колени, а еще потом и пальцы. Знаешь, как тяжело сочинять, когда твои пальцы похожи на еловые шишки? Когда твои суставы грызет и выворачивает, словно их каждую секунду пилят и жгут...

Грамотей поглядел на пальцы.

– А еще постоянно хочется есть, – сказал он. – Я не заметил, как прошло время... Пока я лечил зубы и избавлял от мозолей землепашцев, минули годы. На моих глазах выросли новые леса и обмелели старые реки. Да-да, годы. И вот в один прекрасный день я вспомнил о книге и решил ее закончить. У меня имелись запасы, я сумел скопить кое-что за годы великого пустословия. Я пришел в одну деревню и купил баню на окраине, чтобы жить в ней и работать...

Я слушал.

– У меня было все, что нужно. Бумага, еда, чернила, покой. Я просидел в этой бане три года и так ничего и не написал. Всю почти бумагу извел, ослеп от лучин, поседел... Ничего не вышло. Книга так и не взлетела. Тогда я ее сжег.

– Книгу?

– Книга не получилась, я же говорю. Баню сжег. Книга... Книга, да...

Грамотей усмехнулся, вспоминая свое грамотейское прошлое.

– Знаешь, это все равно были самые счастливые годы в моей жизни, – сказал он. – Я каждое утро ходил к роднику, а в обед отдыхал под тремя березами. Вот так.

– А дальше?

– Дальше... Дальше хуже. Я решил пройти по старым местам, снова поотписывать зубы. Но зубы совсем перестали получаться, поэтому я теперь не отписывал, а подписывал. Знаешь, многие перед смертью хотят, чтобы на могильном камне имелось имя...

Я, как всегда, не понял. У нас безо всяких камней, ровная земля, чтобы волки ничего не подозревали.

– Это вы тут в невежестве погрязли, а в культурных местах любят, чтобы культурно было. Если человек умер и осталось от него, что хоронить, то не просто так его закапывают, а под именем. На доске вырезается, значит, имя, и эта доска втыкается в могилу. А те, кто побогаче, на камне имя хотят иметь. Вот я и писал.

– Надгробные надписи?

– Да. Людей всегда много мрет. И даже тот, кто прожил безымянным, после смерти хочет получить имя. Жил какой-нибудь Прыщ, или Чукля, или Протя, а как в могилу вступил, так сразу то Серафим, то Александр. Родственники особенно такое любят, чтобы не Протя, а Александр. Вот я этим и занимался. Удобно, и доход есть. Потом, конечно, побили.

– Кто? Мужики опять? Или другие грамотей?

Грамотей рассмеялся:

– Не, не другие... Графоманы. Графоманы побили. Есть такие... Буквы знают, а в слова их составлять не способны. Читать ведь все равно никто не умеет, вот они и пользуются невежеством, лепят и лепят...

Грамотей хотел плюнуть, но сдержался, стал дальше рассказывать:

– Вот я на такого и нарвался. Он тоже могилы подписывал, только не по-человечески, а как придется. Людям говорит, что там написано «Аскольд Сапрыкин», а сам просто букв накидает, вот вроде как «Кваомджгм Вурадидш». Я его и уличил. А у него, графомана того, друзья были, такие же графоманы. Помню, хорошо меня тогда обломали...

Он поморщился и хрустнул шеей. Разговорился грамотей, к чему бы?

– Сказали, если еще на их территорию сунусь – и вовсе убьют. Вот и пришлось к вам на север подаваться. Хотелось еще немного пожить. Думал, пока буду переписывать погоду, будут кормить. А погода сам знаешь как, сегодня дождь, завтра солнце... Думал, проскочу... Но не повезло. Хотя, с другой стороны, зиму продержался. Так что я был прав отчасти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.